

А.Д. Васильев

Игры в слова

Манипулятивные
операции
в текстах СМИ



Александр Васильев

**Игры в слова. Манипулятивные
операции в текстах СМИ**

«Златоуст»

2015

Васильев А. Д.

Игры в слова. Манипулятивные операции в текстах СМИ /
А. Д. Васильев — «Златоуст», 2015

Монография посвящена манипулятивному использованию слов в текстах российских средств массовой информации. Для иллюстрации дискурсивных процессов представлены и проанализированы многочисленные примеры.

© Васильев А. Д., 2015

© Златоуст, 2015

Содержание

Введение	6
Цели и средства словесных игр	9
Феномен игры	9
Игры в слова	12
Слово как инструмент игры	15
«Слово – полководец человеческой силы»	20
Вербальная магия	24
Без слов	27
Слово и миф	29
Правила игры	31
Аспекты манипуляции	36
Манипуляции словом	39
Роль адресата манипуляции	44
Конец ознакомительного фрагмента.	47

А. Д. Васильев
Игры в слова. Манипулятивные
операции в текстах СМИ

Официальные рецензенты:

А. П. Сковородников, доктор филологических наук, профессор

А. П. Чудинов, доктор филологических наук, профессор

© Васильев А. Д. (текст), 2013

© ООО Центр «Златоуст» (издание, лицензионные права), 2013

Введение

Среди функций языка нужно особо выделить ту, которую исследователи иногда считают первичной и самой главной, а именно – функцию воздействия, или манипулятивную. Многие явления социальной действительности обязаны своим возникновением вербальному моделированию, позволяющему при определенных условиях воздействовать на сознание носителей языка и регулировать их поведение так, как это выгодно владельцам и распорядителям информационных ресурсов и потоков. Так происходят, в частности, «игры в слова, замешанные на дурной политике» [Трубачёв 2004: 72], в которых нередко фигурирует «пустота, порой замаскированная туманной мыслью при помощи слов с неопределенным содержанием» [Дорошевский 1973: 46], либо за счет подмены слов (или лукавых изменений их исконной семантики) совершаются подмены понятий, функционально весьма значимые. Для правильного понимания подобных манипуляций, производимых с людьми посредством слов, необходим лингвистический анализ.

Описанию и изучению современных российских манипулятивных игр в слова и посвящена эта книга. В известной степени она стала продолжением ранее изданных: «Слово в телеэфире» (2000) и «Слово в российском телеэфире» (2003), а также ряда других публикаций автора.

Можно сказать, что за прошедшее с тех пор время сама речекоммуникативная практика подтвердила принципиальную верность содержащихся в этих работах положений об основных тенденциях словоупотребления, присущих российскому перестроечно-реформаторскому периоду. Это постоянное политтехнологическое совершенствование и обновление инструментария официально-пропагандистских штампов; всё расширяющееся использование заимствований, особенно из американского варианта английского языка; почти неограниченное употребление многочисленных субстандартных лексико-фразеологических элементов, включая ранее табуированные.

Такая ситуация вполне объяснима, но вовсе не мифическим «языковым вкусом» («языковой модой»): любой вкус и любая мода насаждаются теми, кому они по каким-то причинам выгодны. Игры в слова, которые призваны оправдать и обосновать социально-политические изменения, происходящие с начала т. н. перестройки, и обеспечить лояльность к ним со стороны общества (точнее, электората), имеют своей важнейшей составной частью радикальные (до взаимной перемены полюсов включительно) трансформации доминирующей аксиологической шкалы.

С позиций семиотики подобные эволюции можно рассматривать как замену одних, прежних компонентов знаковой системы другими, символизирующими иные социокультурные ценности. Совокупность всех этих явлений образует сложную мозаику, достаточно органично воплощающую и предлагающую представления о новой – послесоветской – картине мира.

Это касается, пожалуй, всех сфер жизни российского общества, в сознание которого внедрена идея относительности ценностных ориентиров. Среди последних приоритетным обычно (хотя еще и не всегда откровенно) считается достижение некоего «успеха» (ср.: *успешные люди* как высшая мера публичного признания и одобрения), в первую очередь – материального (причем способы его достижения не имеют значения). А потому сегодня в России вряд ли кто-то может совершенно точно сформулировать, «что такое хорошо и что такое плохо».

Такая аксиологическая диффузность достигается прежде всего путем словесной обработки социума – операций, глубоко родственных древнейшей вербальной магии.

Конечно, используемые для воздействия на общественное сознание отдельные слова, устойчивые словосочетания и словесные микроблоки обретают необходимую их заказчикам, творцам и трансляторам эффективность лишь при возможно более широком и интенсивном

распространении с помощью средств т. н. массовой информации. Причем, выступая как элементы дискурса, такие единицы в речевом потоке могут быть подчас трудноразличимы для аудитории («“Где умный человек прячет камешек?”... – “На морском берегу”... – “А где умный человек прячет лист?”... – “В лесу”» [Честертон 1980: 77]); другие же фигурируют заметно акцентированно.

Понятно, что все без исключения лексико-фразеологические элементы текстов СМИ, имеющие сугубо манипулятивную заданность, не могли бы быть подробно рассмотрены в рамках небольшого исследования. Поэтому в нем преимущественно анализируются семантика и характер употребления тех словесных знаков, которые, с нашей точки зрения, принадлежат к числу ключевых для управления общественным сознанием.

Примеры словоупотребления, извлеченные с учетом их информативности автором из текстов российских СМИ, представлены с целью наглядности в максимально допустимом объеме. При этом предпочтение было отдано дискурсу телевидения. Поскольку, во-первых, очевидно, что оно сегодня по сравнению, например, с печатной периодикой гораздо более распространено и эффективно. Во-вторых, в силу своей специфики, телевидение достаточно успешно не только имитирует, но – иногда – и транслирует реальную действительность, в том числе и речекommunikативные акты. Причем, как можно заметить, возникает некий заколдованный круг словообращения: телевизионный дискурс будто бы воспроизводит повседневную русскую речь, а говорящие (осознанно или нет – уже другой вопрос) ориентируются на телевизионные высказывания и характер употребления содержащегося в них набора слов как на своеобразную норму. Это часто обнаруживается, когда представители телеаудитории сами оказываются в роли телеречедеятелей (конечно, в передачах разных жанров это может происходить по-разному).

Что касается цитат из текстов печатной периодики, то в книге их относительно мало. Такие цитаты обычно привлекаются в качестве дополнительных источников информации и заимствованы из газет различной социально-политической направленности: «Российская газета» (РГ), «Советская Россия» (СР), «Городские новости» (ГН; орган администрации Красноярска).

Автор неоднократно обращается к литературно-художественным произведениям. Цитаты из них используются как в качестве иллюстративного материала, так и для кратких образных характеристик тех или иных речевых феноменов. Собственно, это вполне традиционно. Ведь литературное творчество не раз рассматривалось и оценивалось отечественными филологами как способ познания и осмысления действительности, зачастую приравняемый к сугубо научному – и наоборот. Ср.: «Единственная цель теоретического (художественного и научного) произведения есть видоизменение внутреннего мира человека, и так как эта цель по отношению к самому создателю достигается одновременно с созданием, то можно сказать, что художественное (и научное) произведение в одно и то же время есть столько же цель, сколько и средство...» [Потебня 1976а: 288].

Сведения из других научных областей в некоторых случаях также оказываются необходимыми: ведь «наука не может сейчас рассчитывать на успех, если будет отгораживаться от других дисциплин слишком высокими заборами» [Комлев 2003: 4].

Давно замечено, что «ценности высказываний определяются не их отношением к языку (как чисто лингвистической системе), а разными формами отношения к действительности, к говорящему субъекту и к другим (чужим) высказываниям» [Бахтин 1986б: 319]. Иначе говоря, автор не претендует на обладание истиной в высшей инстанции; однако внимательное изучение им фактического материала позволяет считать выводы и заключения исследования вполне объективными. Поэтому содержание книги может стать полезным для дальнейших исследований в области лингвистики и некоторых других гуманитарных наук, а также в преподавании соответствующих учебных дисциплин. Вместе с тем, памятью совершенно справедливое

суждение о том, что «в задачи языкознания должно входить рассеивание мыслительной мути, которая может просачиваться из слов» [Дорошевский 1973: 56], полагаем: книга представляет интерес и для гораздо более широкого круга читателей. Ведь игры в слова охватывают всех носителей языка, вне зависимости от их желания или нежелания...

Цели и средства словесных игр

Всякая игра что-то значит... «Ради чего» – в этих словах, собственно, самым сжатым образом заключается сущность игры.
Й. Хёйзинга

Феномен игры

Вероятно, игра сопутствует человечеству на протяжении всей его истории: «наиболее заметные первоначальные проявления общественной деятельности человека все уже пронизаны игрою» [Хёйзинга 1997: 24].

Среди лексикографических толкований этого многозначного слова выделим некоторые – как наиболее интересные для нашего исследования. Ср.: «*игра* – “...забава, установленная по правилам, и вещи, для того служащие”» [Даль 1955, 1: 7] – и «*игра* – ... 2) “занятие, обусловленное совокупностью определенных правил, приемов и служащее для заполнения досуга, для развлечения, являющееся видом спорта”... 7) “преднамеренный ряд действий, преследующий определенную цель; интриги, тайные замыслы”» [МАС₂ 1984, 1: 628].

Заслуживают внимания характеристики игры, предлагаемые психотерапевтом: «Игрой мы называем серию следующих друг за другом скрытых дополнительных транзакций с четко определенным и предсказуемым исходом... Игры отличаются от процедур, ритуалов и времяпрепровождений... двумя основными характеристиками: 1) скрытыми мотивами; 2) наличием выигрыша. Процедуры бывают успешными, ритуалы – эффективными, а времяпрепровождение – выгодным. Но все они по своей сути чистосердечны (не содержат “задней мысли”). Они могут содержать элемент соревнования, но не конфликта, а их исход может быть неожиданным, но никогда – драматичным. Игры, напротив, могут быть нечестными и нередко характеризуются драматичным, а не просто захватывающим исходом» [Берн 2002: 42].

Заметим попутно, что в отечественной православной традиции и сама игра, и ее участники оценивались сугубо отрицательно – как воплощения темных сил, противостоящих истинному христианству: «*игра* – 1) ‘игра, забава’. “Дияволя мудрования, еже есть пиянства, *игры*, скръня, юродословье, смѣхъ”. Панд. Ант., 297. XI в.*... 2) ‘ритуальные языческие песни, пляски, *игры*’. “А ты храмлящая о вѣрѣ научи и ноги текущих на *игры* въ церкви обрати” (Посл. черноризца Иакова). Макарий. ИРЦ II, 341. 1060 г. “Егда ли вид<и>ши многи събирающес<я> к кошунником и к чяродѣмъ и к сатанинскимъ пѣснем и *играм*...” (Поуч. Ио. Злат.). Сл. и поуч. против языч., 194. XVI в.»; ср.: «*игралнице* – ... 3) ‘игра’. “Стрѣльцы учинили бѣсовское *игралнице*, прозваниемъ кобылку”. ДАИ XII, 368. 1691 г.» [СлРЯ XI–XVII вв., 6: 79–80]; «бѣсовский – ... 2) ‘языческий’... “И умножилось въ людехъ во всякихъ пьянство и всякое мятежное бѣсовское дѣйство, глумление и скоморошество со всякими бѣсовскими *играми*”. АИ IV, 124. 1649 г.» [СлРЯ XI–XVII вв., 1: 155].

Полагают, что длительному сохранению отрицательной окраски у слов *игра*, *играть* в истории русского языка способствовал именно лексико-семантический вариант ‘игра, связанная с языческой обрядностью; пение с пляской при исполнении ритуального обряда’ (А. А. Потемня, И. В. Ягич, О. Н. Трубочев и др.): «Негативное отношение к игре – занятию несерьезному, ненастоящему, даже богопротивному... прослеживается и тогда, когда... *игрой* называют обусловленные особыми правилами действия с объектами...» [Астахина 2006: 177]; лишь со временем (возможно, в первой половине XVI в.) слова группы корня *игр*–постепенно нейтрализуются в оценочном отношении и утрачивают пейоративную окраску [Астахина 2006: 178, 185].

По-видимому, присутствие в играх элементов драматизма и нечестности (нарушения заранее установленных правил – ср.: «В игре не без хитрости (обмана)» [Даль 1955, 1: 7]), более или менее выраженных, объясняется желанием одержать над противником верх и получить выигрыш – в той или иной форме: «Теснейшим образом связано с игрою понятие выигрыша... Понятие *выиграть* появляется лишь тогда, когда в игре есть противник» [Хёйзинга 1997: 63].

Надежда на выигрыш (обретение материальных ценностей либо возможности морально торжествовать над побежденным противником – а зачастую и того, и другого одновременно), несомненно, усиливает драматизм игры: «игра сделалась корыстной, стало быть, и злой» [Астафьев 1978: 212]. Тот же автор подробно вспоминает об игре в кол, «которая колуном врубилась в память, угрюмая, мрачная, беспощадная игра, придуманная, должно быть, еще пещерными людьми... Кто в эти “пряталки” не играл, тот и горя не видал!..» [Астафьев 1978: 213, 216]; потому-то «очень уж схожа давняя потеха с современной жизнью, в которой голишь, голишь¹, да так до самой смерти, видать, и не отголишься» [Астафьев 1978: 216].

Важность раннего освоения игр и правильного их выбора для дальнейшего бытия человека подчеркивает Э. Берн, говоря о их генезисе: «Любимые игры, будучи элементами его [ребенка] жизненного сценария, в конечном итоге определяют его судьбу, например, “вознаграждения”, полученные в результате брака или деловой карьеры и даже обстоятельства его смерти» [Берн 2002: 53]. Это, в свою очередь, подтверждает справедливость парадоксального суждения: «Недооценка игры граничит с переоценкой серьезности. Игра оборачивается серьезностью и серьезность – игрой» [Хёйзинга 1997: 28]. Не говоря уж в связи с этим о спортивных играх с участием профессионалов, их значительных (иногда весьма) гонорах, вообще об индустрии большого спорта, выступающего и как часть культуры, точнее шоу-бизнеса. напомним лишь хрестоматийную историю о том, как предприимчивый американский мальчик, тонко воспользовавшись простодушием и тщеславием сверстников, заставляет (точнее, может быть, склоняет) их выполнить работу, порученную ему, да еще получает от них за это солидное вознаграждение: «сам того не ведая, он открыл великий закон, управляющий поступками людей, а именно: для того чтобы человек или мальчик страстно захотел обладать какой-нибудь вещью, пусть эта вещь достанется ему возможно труднее... Он понял бы, что Работа есть то, что мы **обязаны**² делать, а Игра есть то, что мы *не обязаны* делать» [Твен 1978б: 31–32].

А. П. Чудинов в фундаментальном исследовании современной метафоры отмечает, в частности, что среди доминантных моделей российского политического дискурса выделяется представление политической жизни как своего рода игры или спортивного состязания: «... Наименование *игра* используется в значении “преднамеренный ряд действий, преследующих определенную цель; интриги, тайные замыслы”... В политической речи метафоры обычно несут негативный прагматический потенциал: считается, что уважающий себя, свое дело и окружающих политический деятель должен быть искренним... Постоянно используются коммуникативные тактики “призыв к откровенности”, “призыв к конструктивному сотрудничеству”, которые совершенно не соответствуют практике использования “политических игр”... Авторы политических текстов стремятся перенести негативное отношение к нарушителям спортивных правил на нарушителей правил “политической игры”», которая «рассматривается как своего рода спорт, где необходимы строгие правила честного соперничества, где успех в значительной степени предсказуем, победа приходит к сильнейшему, хотя и бывают разного рода **неожиданности**» [Чудинов 2003: 121, 123, 127, 129].

Итак, *игру* в интересующем нас аспекте характеризуют следующие основные признаки: определенная социальная значимость; стремление к достижению некоей цели; наличие обязательных для соблюдения установок (правил) – но и вероятность их нарушений; возможность

¹ Голить – здесь: водить в игре. – Прим. ред.

² Разрядка здесь и в других цитатах наша.

обрести выигрыш; неочевидность (неявная мотивированность) реализуемых замыслов; драматизм самого хода игры и ее результатов для заинтересованных лиц – вольных или невольных участников, зрительской аудитории и др.; напряженность, выражающаяся зачастую во взаимном ожесточении соперников; существование игрового поля (пространства); способность восприниматься в социуме столь же серьезно и уважительно, как и любая другая деятельность людей, а отсюда – и долгосрочные (иногда – не сиюминутно обрушивающиеся) последствия игр для всех, вошедших или вовлеченных в сферу их действия; далеко не всегда позитивная оценочность.

Вместе с тем, можно полагать, что в ряде случаев употребление слова *игра* – в том числе в произведениях политологов и проч. – заметно утрачивает метафорический характер. Вероятно, это происходит и за счет терминологизации, происходящей от доведения метафоричности до своей противоположности – буквализации.

Так, в значительной степени можно согласиться с мнением, согласно которому ситуация в перманентно и явно целенаправленно реформируемой России может быть квалифицирована как возникшая вследствие совокупного воздействия ряда факторов «неокочевая “цивилизация *игры*”» (с точки зрения М. Калашникова, «Пятую мировую войну ведут не США, не сионисты и масоны, а нечто гораздо более страшное – новое сообщество человеческих мутантов, носителей духа “добывания трофеев”, античеловеков. Мы, используя термин еврейского банкира Жака Аттали, считаем их новыми кочевниками, космополитической сетью **игроков** с историей. Это – крупнейшие финансовые спекулянты и владельцы массмедиа, которые делают своей силовой базой Соединенные Штаты. Сам Аттали, создавая термин “новые кочевники”, всецело их поддерживает и вообще глядит с восхищением на эту новую расу»³ [Калашников 2003: 60]).

Очевидно, те или иные из вышеназванных признаков игры (не исключено, что зачастую – во всей их совокупности) присущи и тому явлению, которое именуют «языковой игрой». Следует заметить, что разнообразные варианты терминования этого феномена (о чем также будет сказано далее) дают возможность вновь убедиться в справедливости известных положений: «ничто языковое не чуждо терминам» [Котелова 1974: 61] и «научная терминология как продолжение народной тоже поневоле наделена метафоричностью» [Трубаев 1992: 43]. Небезынтересно, что, подобно другим таким лексемам, существительное *игра*, выступая в качестве термина, продолжает оставаться и активной общеупотребительной единицей словарного состава. А это, на наш взгляд, свидетельствует о целесообразности его использования в функции компонента ряда составных терминов и устойчивости в этом статусе.

³ Ср. эпизод американского фильма «День независимости» («The Independence Day»), в котором президент США «транслирует» мысли захваченного пришельца из космоса: «Они [инопланетяне] как саранча. Летают с планеты на планету всей стаей, а когда сожрут всё, что там есть, улетают». Впрочем, при глобализации «новые кочевники» вовсе не обязательно должны находиться на территории, которую грабят (т. е. «осваивают», невзирая на аборигенов и их интересы): это можно делать дистанционно – через мультимедийные сети и/или с помощью доверенных лиц из числа туземцев.

Игры в слова

Саму *игру* сделали возможной свойства, имманентно присущие языку как основному инструменту общения, познания человека и мира, передачи и хранения национальной ментальности. «Язык, посредством которого человек различает, определяет, устанавливает, короче говоря, именует, т. е. возвышает вещи⁴ до сферы духа. Играя, речетворящий дух то и дело перескакивает из области вещественного в область мысли. Всякое абстрактное выражение есть речевой образ, всякий речевой образ есть не что иное, как игра слов» [Хёйзинга 1997: 24].

Столь широкое понимание рассматриваемого феномена разделяется не всеми авторами. Ср.: «Операциональные механизмы языковой игры... являются отраженными механизмами функционирования языковой системы, реализуя стратегию намеренного отступления от формальных и семантических правил, заданных потенциями употребления и порождения знака в речевой деятельности» [Гридина 1998: 36]. Однако обоснованно считают также, что «высказывание без строгого следования норме увеличивает энтропию [текста], так как не проецируется на словарно закрепленный узус... Энтропия – это и возрастание роли интуиции в восприятии текста, а также установка на “языковую игру”, ироничное повествование, каламбуры и мн. др. как способ иносказания (в этом случае энтропия – следствие того, что смысл формируется через включение в сознание воспринимающего того, что содержится в подтексте)» [Синельникова 2003: 20].

Согласно концепции Л. Н. Мурзина, следует считать наивысшим уровнем языка не текст, а культуру. Отправным пунктом умозаключений здесь является положение о свободе как непереносимом атрибуте языка, так как «язык не может существовать в условиях несвободы своего употребления, функционирования, жизни, самосознания», а «свобода лишь там, где есть выбор... Но... выражения *свобода языка, степень свободы языка, свободный язык* и т. п., очевидно, содержат долю фигуральности, ибо фактический выбор делает носитель языка, а не сам язык. Язык как объективное явление лишь открывает перед нами возможность выбора. Язык определяет условия выбора... Язык свободен в той мере, в какой он вариативен... Система языка и норма существенно ограничивают его свободу» [Мурзин 1997: 127–130]. В свете этого языковая игра также может пониматься как некое нарушение или отклонение от системы и нормы языка, основанное на широкой (но не беспредельной) вариативности свободного использования языковых средств и воплощающее свободу языка (пусть и в ее конвенциональном понимании).

Почти всеобъемлющ типологический реестр коммуникативных актов, приводимый Л. Витгенштейном в качестве конкретизированных иллюстраций языковой игры: «Термин “языковая игра” призван подчеркнуть, что говорить на языке – компонент деятельности или форма жизни. Представь себе многообразие языковых игр на таких вот и других примерах:

- Отдавать приказы или выполнять их —
- Описывать внешний вид объекта или его размеры —
- Изготавливать объект по его описанию (чертежу) —
- Информировать о событии —
- Размышлять о событии —
- Выдвигать и проверять гипотезу —
- Представлять результаты некоторого эксперимента в таблицах и диаграммах —
- Сочинять рассказ и читать его —

⁴ Кстати, установлено, что «неслучайно слав.*věkъ (чеш. věc, рус. – цслав. вещь) этимологизируется как и.-е. *uektos/*uktos ‘сказанное, изреченное’ (вещь – это ‘то, что можно назвать’), подразумевая в оппозиции то, чего нельзя назвать, неизреченное, т. е., видимо, высшие понятия» [Трубачёв 1988: 10].

Играть в театре —
Распевать хороводные песни —
Разгадывать загадки —
Остричь; рассказывать забавные истории —
Решать арифметические задачи —
Переводить с одного языка на другой —
Просить, благодарить, проклинать, приветствовать, молить» [Витгенштейн 2003: 237].

Можно заметить, что такое представление о языковой игре весьма близко к характеристикам того явления, которое – как относительно устойчивые типы высказываний – было названо М. М. Бахтиным «речевыми жанрами»: «Богатство и разнообразие речевых жанров необозримо, потому что неисчерпаемы возможности разнообразной человеческой деятельности и потому что в каждой сфере деятельности целый репертуар речевых жанров, дифференцирующийся и растущий по мере развития и усложнения данной сферы... К речевым жанрам мы должны отнести и короткие реплики бытового диалога (причем разнообразие видов бытового диалога в зависимости от его темы, ситуации, состава участников чрезвычайно велико), и бытовой рассказ, и письмо (во всех его разнообразных формах), и короткую стандартную военную команду, и развернутый и детализованный приказ, и довольно пестрый репертуар деловых документов (в большинстве случаев стандартный), и разнообразный мир публицистических выступлений (в широком смысле слова: общественные, политические); но сюда же мы должны отнести и многообразные формы научных выступлений и все литературные жанры (от поговорки до многотомного романа)» [Бахтин 1986а: 250–251].

Подобные мнения по поводу сути, основ, а также характерных форм реализаций языковой игры высказываются и другими авторами. Например: считая, что «языковая игра (в максимально широком понимании термина) – это нетрадиционное, неканоническое использование языка, это творчество в языке, это ориентация на скрытые эстетические возможности языкового знака», полагают, что «языковые правила носят нежесткий характер, и шаблоны, или модели, создают только основу, канву для деятельности говорящего» и что «те нарушения, отклонения от моделей, что допускает в своей речи человек, сами оказываются моделируемыми, они также сводимы к определенным образцам» [Норман 1987: 168, 170]; многочисленные примеры языковой игры, приведенные в цитируемом источнике, показывают, что она призвана вызывать преимущественно комический эффект либо выступает как разновидность «искусства для искусства» – «иногда и “просто так”, для собственного удовольствия» [Норман 1987: 169].

Приведя ряд понятийно соотносительных терминологических сочетаний (*языковая игра, игра с языком, игра слов, языковая эксцентрика, реализация людической функции языка*), А. П. Сковородников ввиду желательности системного использования терминов стилистики считает целесообразным закрепить за некоторыми из них – иерархически расположенными – такие значения:

«**Языковая игра** – творческое, нестандартное (неканоническое, отклоняющееся от языковой/стилистической/речеповеденческой/логической нормы) использование любых языковых единиц и/или категорий для создания остроумных высказываний, в том числе комического характера... **Игра слов** – разновидность языковой игры, в которой эффект остроты достигается неканоническим использованием слов и фразеологизмов (трансформациями их семантики и/или состава). **Каламбур** – разновидность игры слов, в которой эффект остроты (в основном – комической) достигается неканоническим использованием полисемантов, омонимов, паронимов, псевдосинонимов и псевдоантонимов» [Сковородников 2003: 796, 802].

Любопытно, между прочим, что лишь одно из вышеприведенных словосочетаний оказалось зафиксированным не только в специально-терминологической лексикографии, но также и в толковых словарях русского языка. Например: «**игра слов** – ‘острота или шутка, основанная

на однозвучности или двусмысленности речений» [Даль 1955, II: 7]; «**игра слов** – ‘остроумная шутка, основанная на употреблении одного слова вместо другого или на подмене одного значения другим значением того же слова; каламбур’» [МАС₂ II: 628]. Видимо, это предпочтение не случайно: и в обыденном (нелингвистическом) сознании именно слово выступает как важнейший элемент языка.

Слово как инструмент игры

Обратимся к тем особенностям слова как единицы языковой системы, которые, в совокупности с упомянутыми выше, делают его столь уникальным материалом, инструментом и востребованным атрибутом игры, концентрирующим в себе потенциально высокую энергию.

В лексических единицах фокусированы черты всех уровней языковой структуры; выполнение словами своей главной функции – номинативной – обусловлено наличием у них лексического значения. Поэтому и возможны следующие характеристики слова: «Слово всегда глубинно-перспективно, а не плоскостно» [Лосев 1991: 62]. – «Слова суть символы... Слова суть вспыхивающие в сознании монограммы бытия» [Булгаков 1953: 26, 30]. – «Слова и формы как аббревиатуры или представители высказывания, мировоззрения, точки зрения и т. п., действительных или возможных. Возможности и перспективы, заложенные в слове; они, в сущности, бесконечны» [Бахтин 1986б: 316]. – «За словом и за его смыслом всегда стоит нечто большее – коллективный опыт народа, его дух, его подлинное величие... Все прочие уровни языка манифестируются только через лексику» [Трубачёв 2004: 154]. – «Слово – единственная единица языка» [Руделев 1995: 3].

Можно согласиться и с тем, что «слово – тот же текст, только обработанный, скомпрессированный и включенный в язык [что наглядно подтверждается, например, при сопоставлении левой и правой частей статьи толкового словаря. – А. В.] ... Слово – не только преобразованный текст, это еще истоки совершенно новых, неожиданных текстов» [Руделев 1995: 3].

Кроме того, «в каждом слове, кроме понятия, заключены еще образ и символ» [Колесов 1999: 222]. Особое место занимают слова-символы, издревле прочно связанные с сакральной сферой общественного сознания; как полагают, примером этого может служить любое общее (т. е. родовое) слово Писания или народной поэтики (*Бог, солнце* и др.): «подобные слова – свернутый мир, вынесенный из прошлого» [Колесов 1990: 28]. Ср.: «Что такое всё христианское жизнепонимание? – Развитие музыкальной темы, которая есть... догматика. А что есть догматика? – Да не что иное, как разросшаяся крещальная формула – “Во имя отца и Сына и Св. Духа”. Ну, а последняя-то уж, несомненно, есть раскрытие слова *ομοούσιος*. Рассматривать ветвистое и широкосенное древо горчичное жизнеописания христианского как разросшееся зерно идеи “едино-сущия”, – это не логическая только возможность. Нет, исторически именно так и было» [Флоренский 1989: 54].

Слово способно вызывать обильные – и при этом устойчивые ассоциации: «Мы убеждены, что события, о которых теперь напомним нам слово *школа*, тождественны с теми, которые были и прежде предметом нашей мысли...» [Потебня 1976б: 106].

В значительной степени подобные феномены свойственны, как считают, прежде всего (западно)европейскому сознанию номиналистического типа: наличие термина предполагает присутствие соответствующей идеи или явления [Колесов 2004в: 11–12]. В свою очередь, это позволяет не только конструировать нужные оценки словесно обозначаемого, но даже – при необходимости – наклеивать вербальный ярлык на заведомую пустоту. Ср.: «Гёте говорил: “Людам нечего делать с мыслями и воззрениями. Они довольствуются тем, что есть слова. Это знал еще мой Мефистофель: “Коль скоро надобность в понятиях случится, Их можно словом заменить”»» (цит. по [Бунин 1988б: 79]). – «У нас глубокая психологическая привычка искать за формой обычного для нее содержания. ... Если вы встретите осанистого старика с великолепной бородой, мудрыми бровями и репутацией крупного общественного или государственного деятеля – как трудно, как до жестокости тяжело будет вам признать, что перед вами просто старый дурак...» [Тэффи 1991: 396].

Может быть, при вербальном общении это происходит и из-за неспособности (или нежелания?) коммуникантов четко разграничить план содержания и план выражения речевого акта

(в том числе и отдельного слова): «Выражение есть всегда синтез чего-то внутреннего и чего-то внешнего. Это – тождество внутреннего с внешним... Самый термин *выражение* указывает... на некое активное самопревращение внутреннего во внешнее... Выражение может быть символом» [Лосев 1991: 45, 48]. Иначе говоря, определенные слова как звукобуквенные символы сигнализируют и внушают адресату – еще раз подчеркнем, далеко не всегда склонному либо способному к анализу воспринимаемого высказывания («выражения») – то, что считает необходимым адресант (например, владелец СМИ и глашатаи его интересов).

Большую роль в общении играет и «экспрессивный момент» высказывания, определяющий его композицию и стиль, т. е. «субъективное эмоционально оценивающее отношение говорящего к предметно-смысловому содержанию своего высказывания... Абсолютно нейтральное высказывание невозможно» [Бахтин 1986а: 278]; упомянутое субъективное отношение адресант и передает (более того: даже должен передать, в соответствии с собственными установками, полномочиями и/или социальными и иными обязательствами) адресату. Это можно рассматривать как совершенно объективную и универсальную модель речевого поведения; ведь «прагматический фактор пронизывает всю речевую деятельность человека и предусматривается как в элементарных высказываниях, имеющих чисто утилитарные цели (приказание, просьба), так и в сфере широкой социальной жизни, где тесно переплетаются узкопрактические цели повседневной жизни и крупномасштабные социальные акции» [Колшанский 1990: 100]. Справедливо, что «воздействие через язык осуществляется не простым путем оценочных высказываний типа: “это – хорошо”, “это – плохо”, а различными языковыми обозначениями, которые содержат социально обусловленный оценочный компонент. Применение подобных обозначений позволяет выразить оценки имплицитно, незаметно для коммуникантов [прежде всего, наверное, – для адресата. – А. В.] и вызвать у них соответствующее отношение и поведение. При этом имеется в виду не то воздействие, которое язык оказывает и распространяет сам по себе [всё-таки, скорее всего, это делают носители языка. – А. В.], а то, что оценки и взгляды определенных социальных групп закрепляются в разных точках зрения на языковое употребление и в дальнейшем переносятся языком на специальное воздействие соответствующих социальных групп» [Матвеева 1984: 5–6].

Поэтому слово успешно выполняет функцию суггесторного воздействия, сила которого, как полагают, может быть сравнима с физиологическими факторами; «внушаемость посредством слова – глубинное свойство психики, возникшее гораздо раньше, нежели способность к аналитическому мышлению» [Кара-Мурза 2002: 84].

Оценку В. Гумбольдтом, который «замыкает мир в скорлупе национального языка», считают «стандартной, но всё же не совсем справедливой» [Комлев 2003: 95], однако при этом очевидным признают и «факт, что передача знаний, накопленных общественным опытом, может осуществляться главным образом через высказывания, т. е. в форме слов» [Комлев 2003: 92]. И именно язык самым активным образом участвует в сложении «социокода – основной знаковой реальности культуры»; социокод удерживает в целостности и различении «фрагментированный массив знания, расчлененный на интерьеры мир деятельности и... институты общения» [Петров 1991: 39]. И «абстрактная форма отражения мира в сознании человека выступает материально в словесной форме и конкретно – в сложной динамике своих связей в бесконечном речевом процессе» [Колшанский 1990: 46].

Положение о бесконечности речевого процесса, непрерывности речевого потока подразумевает и то, что «каждое высказывание – это звено в очень сложно организованной цепи других высказываний» [Бахтин 1986а: 261]; причем причинно-следственные отношения между ними, а также, очевидно, вытекающими из них решениями и поступками, могут быть довольно разнообразными, как и формы, сроки и интенсивность возможных ответных реакций адресата на слова-сигналы адресанта. Ими могут оказаться и непосредственная реализация действия – как выполнение понятого и принятого к исполнению приказа или команды; и молчаливое

ответное понимание, которое остается таковым до какого-то момента: «рано или поздно услышанное и активно понятое откликнется в последующих речах или в поведении слышавшего. Жанры сложного культурного общения в большинстве случаев рассчитаны именно на такое активно ответное понимание замедленного действия» [Бахтин 1986а: 260]. Слово выступает как импульс поступка – пусть иногда и не сиюминутного.

На первый план, конечно, выходит вопрос о семантике лексем, используемых в манипулятивном акте коммуникации (информационно-психологическом выпаде, побуждающем к действию) в качестве ключевых: такие слова, которые способны перетряхнуть всю систему, заставить ее изменяться [Расторгуев 2003: 39]. Как ни парадоксально, но четко очерченные лексические значения подобных единиц могут быть и непонятны адресату. Тем не менее, они способны вызвать у аудитории желательную адресанту реакцию:

Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно

[Лермонтов 1970, 1: 342] (ср.: «...Наташа с бледным и серьезным лицом вошла в комнату... “Николенька, я тебе растолкую, ты уйди... Вы послушайте, мама-голубушка”, – говорила она матери. Слова ее были **бессмысленны**; но **они достигли того результата**, к которому она стремилась. Графиня, тяжело захлипав, спрятала лицо на груди дочери, а Николай встал, схватился за голову и вышел из комнаты. Наташа взялась за дело примирения и довела его до того, что Николай получил обещание от матери в том, что Соню не будут притеснять, и сам дал обещание, что он ничего не предпримет тайно от родителей» [Толстой 1980, V: 303]).

Проблемы тождества слова и распознаваемости лексической семантики в процессе речевого общения продолжают оставаться весьма актуальными, несмотря на длительную историю их разработки. «Слово, взятое в целом, как совокупность внутренней формы и звука, есть прежде всего средство понимать говорящего, апперцепировать содержание его мысли... Что касается до самого субъективного содержания мысли говорящего и мысли понимающего, то эти содержания до такой степени различны, что хотя это различие обыкновенно замечается только при явных недоразумениях..., но легко может быть осознано при так называемом полном понимании. Мысли говорящего и понимающего сходятся между собою только в слове» [Потебня 1976б: 139–140]. Ср. литературно-художественные осмысления подобных диалогов: «...И Щеголев пошел рассуждать о политике... Названия стран и имена их главных представителей обращались у него вроде как в ярлыки на более или менее полных сосудах, содержание которых он переливал так или этак... Совсем страшно бывало, когда он попадал на другого такого же любителя политических прогнозов. Был, например, полковник Касаткин, приходивший иногда к обеду, и тогда сшибалась щеголевская Англия не с другой щеголевской страной, а с Англией касаткинской, такой же несуществующей, так что в каком-то смысле войны международные превращались в межусобные, хотя воюющие стороны находились в разных планах, никак не могущих соприкоснуться» [Набоков 1990, 3: 142–143]. – Ср.: «Как, товарищ, у вас работа среди женщин? – скороговоркой грянул столичный [ответственный работник]... – Ничего, – добродушно ответил ему провинциальный, безответственный, беспартийный, дыхнув самогонкой, – у нас насчет этого хорошо. Я с третьей бабой живу» [Булгаков 1989, 2: 319].

Приведенные примеры наглядно иллюстрируют положения о том, что даже использование коммуникантами одного общего для них естественного языка не обеспечивает тождественности кода, поскольку требуются еще и идентичность языкового опыта, и совпадение объемов памяти, и единство представлений о норме, языковой референции и прагматике. «Если добавить влияние культурной традиции (семиотической памяти культуры) и неизбежную индивидуальность, с которой эта традиция раскрывается тому или иному члену коллектива, то станет

очевидно, что совпадение кодов передающего и принимающего в реальности возможно лишь в некоторой весьма относительной степени. Из этого неизбежно вытекает относительность идентичности исходного и полученного текстов» [Лотман 1996: 13–14].

Интерпретации семантики слов, например актуального для той или иной эпохи политического лексикона, могут быть отягощены коннотациями, возникающими в зависимости от различных экстралингвистических (условно) факторов – социального статуса, культурно-образовательного уровня и иных индивидуальных характеристик реципиента. Это можно иллюстрировать, например, следующими эпизодами романа, где отражено восприятие таких лексем двумя персонажами – Катей Смоковниковой, вдовой блестящего столичного адвоката, (К.) и Анисьей Назаровой, бывшей крестьянкой, затем – бойцом Красной Армии (А.).

К.: «Она ничего не понимала в происходящем! Революция представлялась ей грозовой ночью, опустившейся на Россию. Она боялась некоторых слов, например, *совден* казался ей свирепым словом, *ревком* – страшным, как рев быка, просунувшего кудрявую морду сквозь плетень в сад, где стояла маленькая Катя (было такое происшествие в детстве). Когда она разворачивала коричневый газетный лист и читала: “Французский империализм с его мрачными захватными планами и хищническими союзами...”, ей представлялся тихий в голубоватой летней мгле Париж, запах ванили и грусти, журчащие ручейки вдоль тротуаров... “Ну, какие же они империалисты”, – думала Катя» [Толстой 1982, I: 294].

А.: «Она сидела, нахмуренная от внимания... Неприученный мозг с трудом впитывал отвлеченные идеи, – они, как слова чужого языка, лишь частицами, искорками проникали к ее живым ощущениям. Слово “социализм” вызывало в ней представление чего-то сухо шуршащего, как красная лента, цепляющаяся ворсом за шершавые руки. Эта лента ей снилась. “Империализм” был похож на царя Навуходоносора с лубочной картинки, засиженной мухами, – с короной, в мантии, окрашенной мазком кармина, – царь ронял скипетр и державу при виде руки, пишущей на стене: мене, текел, фарес... Но Анисья была трудолюбивая и упорно преодолевала эти несовершенные представления...» [Толстой 1982, II: 95–96].

Роль ассоциаций, подобных вышеприведенным, хорошо известна; не приближая реципиента к осмыслению лексических значений слов, они лишь играют роль некоего нимба; в других случаях не возникает и этого: ср. рассказ М. Зощенко «Обезьяний язык» 1925 г., малограмотные персонажи которого вполне уверенно – «вежливо», «небрежно», «интеллигентно» – употребляют «слова с иностранным, туманным значением» (вроде «пленарное», «кворум», «конкретно», «фактически», «минимально», «индустрия», «президиум» и т. п.), причем в составе штампов складывавшейся тогда официальной советской риторики.

Конечно, подобное легко объяснить низким культурнообразовательным уровнем основной массы носителей русского языка того времени. Любопытно, однако, что гораздо позже аналогичные пропагандистские формулы (но уже в период т. н. перестройки) высоко оценивались и некоторыми лингвистами.

Так, в одной из публикаций перестроечного периода после критики «темного языка бюрократов и догматиков, замысловатого и трескучего, составленного из клише и слов-паразитов», констатировалось возвращение русского языка «в лоно нормального использования и развития... Идет творение новой фразеологии, преодолевающей формализм и открывающей возможность прямого, демократического, откровенного обсуждения сложившегося положения, реальных дел и задач: *убрать завалы, искать развязки, прибавить в работе, нужны прорывы, усилить поиск, оздоровить общество, воспитывать словом и делом, стратегия ускорения, нестандартно мыслить, ускорение социального и экономического развития, нравственная закалка кадров, человеческий фактор*. Все эти **простые и честные, прямые** выражения пробуждают творческое мышление, превращают самостоятельную индивидуальность в жизненную потребность людей... Даже неказистые сложения... (*самоуправление, самофинансирование, самоокупаемость, ресурсосберегающий, трудосберегающий, высокотехнологич-*

ный, наукоемкий, природоохранный) несут в себе **заряд правды, момент истины**, то есть то, что легло в основу перестройки» [Костомаров 1987: 3–5, 7]. Однако по истечении совсем непродолжительного времени стало ясно, что реальные плоды *нового мышления*, творчески примененного *прорабами перестройки с приоритетным учетом общечеловеческих ценностей*, оказались все-таки несколько иными, чем (может быть) предполагалось «не прогибавшимися под изменчивый мир». Впоследствии лексикографы оценили подобные «весьма посредственные штампы» как «негативный материал», который можно использовать при работе над Новым академическим словарем русского языка [Корованенко 1995: 42].

Следовательно, по-видимому, причина обаяния таких магически-манипулятивных словесных блоков заключается далеко не только в уровне образования или в характере профессиональной деятельности адресата.

«Слово – полководец человеческой силы»

«Слова языка ничьи», но «всегда есть какие-то словесно выраженные ведущие идеи “властителей дум” данной эпохи, какие-то основные задачи, лозунги и т. п.» [Бахтин 1986а: 282, 283], которые, как провозглашалось исторически недавно, овладев массами, становятся материальной силой. Эти лексемы сменяют друг друга по мере необходимости, определяемой их творцами и проводниками – современными жрецами и проповедниками (в первую очередь, наверное, – заказчиками и уполномоченными ими распорядителями). Особенно заметны подобные явления при радикальных политических, экономических, культурных и прочих трансформациях социума. Следует учитывать, что подобные слова и устойчивые словосочетания не просто манифестируют революционные катаклизмы, но и оказываются их импульсами и стимуляторами. Столь же важно иметь в виду специфику семантики таких слов и составных наименований: они, как правило, обозначают референты, либо заведомо отсутствующие в реальной действительности (ср. перифрастическое определение лжи в языке свифтовских гуингнмов: «утверждать то, чего нет»), либо воспринимаемые и оцениваемые разными носителями одного языка и их макрогруппами настолько различно, что это подчас заставляет усомниться в наличии обозначаемых явлений. Мощнейшие факторы, поддерживающие обращение этих слов в публичном дискурсе, – настойчивость штатных пропагандистов и иных распространителей семантических пустышек (чуть ли не парольно-фатического характера) с одной стороны; с другой – активно поощряемая вера в них аудитории, т. е. совершенно некритичное, малоосмысленное отношение адресатов к навязываемым вербальным символам (ср.: «...Глупый наш народ Легковерен: рад дивиться чудесам и новизне...» [Пушкин 1978, V: 282]).

Понятно, что и восприятие, и оценки конкретных примеров описываемого лингвопропагандистского феномена могут варьироваться в зависимости от позиций наблюдателя-аналитика, которые, впрочем, не так уж редко тоже меняются под влиянием причин не обязательно сугубо лингвистического толка; разнообразной бывает и используемая при этом терминология. Рассмотрим здесь только несколько случаев.

Так, предлагают называть «лексическими фантомами» «слова, в значении которых отсутствует денотативный компонент. Проще говоря, это та ситуация, когда слово есть, а предмета, который оно обозначает, не существует» [Норман 1994: 53]. Хотя цитируемый автор и говорит о фантомах мифологических (*русалка, леший* и т. п.), литературных (*Бармалей, Дядя Степа* и т. д.), научных (*теплород* и проч.), но основное внимание (да и обличительный заряд) обращает на фантомы идеологические, которые, оказывается, «значительно более многочисленны (и опасны!). Это случаи, когда отрыв слова от денотата обусловлен идеологической деятельностью человека, разработкой той или иной социальной утопии, поддержанием определенных социальных иллюзий» [Норман 1994: 55]. Ясно, что, в полном соответствии с интеллигентскими умонастроениями тех лет, речь, конечно же, идет о лексико-фразеологических элементах компартийной пропаганды: «Если говорить конкретно об СССР, то социализм, который в течение 70 лет строился (и “был построен”), в значительной мере был социализмом на бумаге. Он обслуживался огромным количеством слов-призраков, за которыми в реальной жизни ничего не стояло (либо, что в данном случае то же самое, стояла их полная противоположность). В качестве примеров можно привести такие фантомы: *мир, равенство, братство; разоружение; диктатура пролетариата, социальная справедливость; слуги народа; развивающиеся страны* (а остальные страны – что, не развиваются?); *человеческий фактор; остров Свободы; Слава КПСС!; Народ и партия едины; Экономика должна быть экономной; союз нерушимый республик свободных; Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи; Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны* и т. д. и т. п. Специально подчеркнем: речь идет

не просто об использовании в идеологических и политических контекстах отвлеченной лексики, но о принципиальной оторванности данных номинаций от реальной действительности, об их “замкнутости” на себе (обусловленной тоже, можно сказать, своеобразным мифотворчеством)... Идеологические фантомы в опоре на реалии не нуждаются... Они представляют собой своего рода плетение словес, обретающее от бесчисленного повторения... магическую силу» [Норман 1994: 55–56].

Собственно, это лишь одна из многих иллюстраций сугубо узкого – и как-то очень уж своевременного – понимания феномена. Его сущность следовало бы изучать на гораздо более разнообразном материале, а не ограничиваться тем, который в перестроечно-реформаторский период был обозначен как самая доступная мишень, причем попытки поразить ее не только свидетельствовали о новейшей благонадежности авторов, но и предлагали некое научно-лингвистическое оправдание и обоснование развернутых экспериментов и трансформаций. Внезапное слаженное прозрение пандемического характера («послушать иных многих, так просто жалко делается людей: чуть ли не все изнывали под игом тоталитаризма, диктата, цензуры...» [Трубачёв 2004: 141–142]) выросло в продолжительную кампанию, крайности которой признавали даже некоторые ее активисты: «...Последние годы перестройки показывают, что именно радикалы зачастую лишают своих оппонентов права на “инакомыслие”, а жесткие возгласы с пеной у рта на иных ультраперестроечных митингах слишком похожи на уже известный человечеству призыв толпы: “Распни его!”. То же порой происходит и в науке, и все мы – не без греха (в том числе и сам автор книги...)» [Горбаневский 1991: 186]. Усилия по разоблачению и искоренению тех лексико-фразеологических черт русского языка, которые в совокупности были удостоены ярлыка «советский новояз», получили долговременную инерцию: ведь чуть ли не до сих пор «описания языка тоталитаризма в монографиях, научных и научно-популярных статьях вызывают у определенной части “лингвистов-пассионариев” желание бороться (опять!), обличать, громить остатки ненавистной социальной системы и ее языка» [Мокиенко, Никитина 1998: 6]. Может быть, колоссальные затраты энергии на производство безопасного пафоса и не дают многим специалистам заметить сегодняшние эволюции общественно-политического дискурса. А ведь известно, что «во всей истории литературных (или стандартных) языков мы видим примеры того, как класс, переживающий эпоху своего господства, уступая свою позицию новому, идущему ему на смену классу, передает последнему... и языковую традицию. Стандартный язык, таким образом, как эстафета, переходит из рук в руки, – от одной господствующей группы к другой, наследуя от каждой из них ряд специфических черт» [Поливанов 2001а: 331].

Кажется, явно преднамеренно, но столь же (с лингвистической точки зрения) и неоправданно «упускается из виду другой аспект изучения: имеет смысл не только противопоставлять, но и пытаться увидеть то общее, что присуще русскому литературному языку советского и постсоветского времени. Это общее – принадлежность литературного языка, языкового стандарта массовой культуре. Советский и постсоветский периоды истории литературного языка – это периоды развития литературного языка массовой культуры» [Романенко 2005: 116]. Тем более, что, как показывает тщательный анализ образцов советской словесной культуры, образ риторика – ее адепта и проповедника – характеризовался категорией партийности, которая адекватно доминирующим ценностям воплощалась в вербальной магии того периода: «это проявление действенности знака, основанное на принципе его мотивированности. Знак воспринимается как мотивированная модель вещи, поэтому в речевой практике они отождествляются... Правила обращения со знаками и вещами тоже отождествляются. Знак становится более суггестивным, чем информативным» [Романенко 2003: 222; также 74–79 и др.] (это присуще и последующему времени), а в условиях приоритета документной коммуникации возникает и документная герменевтика, интерпретирующая имена как вещи [Романенко 2003: 226]. Собственно, это довольно традиционный феномен: «Слово есть самая вещь, и это доказывается не

столько филологическою связью слов, обозначающих слово и вещь, сколько распространенным на все слова верованием, что они обозначают сущность явлений. Слово, как сущность вещи, в молитве и занятии получает власть над природою» [Потебня 1976б: 176].

Нельзя оставлять без внимания ни несомненную преемственность тенденций речевой коммуникации в пределах одного языка, ни – в то же время – почти (?) повсеместную их распространенность в типологически разных языках и в условиях различных социально-политических систем. Достаточно вспомнить хотя бы о *political correctness* – «политической корректности» (переводят также как «культурная корректность», «коммуникативная корректность»), сконструированной и культивируемой в США и в полном соответствии с практикой глобализации экспортируемой повсюду.

По мнению С. Г. Кара-Мурзы, «правильный» (видимо, «политкорректный», судя по приводимым примерам) язык Запада создавался – и продолжает совершенствоваться – следующим образом: «Из науки в идеологию, а затем и в обывденный язык перешли в огромном количестве слова-“амебы”, прозрачные, не связанные с контекстом реальной жизни. Они настолько не связаны с конкретной реальностью, что могут быть вставлены практически в любой контекст, сфера их применимости исключительно широка (возьмите, например, слово *прогресс*). Это слова, как бы не имеющие корней, не связанные с вещами (миром). Они делятся и размножаются, не привлекая к себе внимания, – и пожирают старые слова. Они кажутся никак не связанными между собой, но это обманчивое впечатление. Они связаны, как поплавки рыболовной сети, – связи и сети не видно, но она ловит, запутывает наше представление о мире. Важный признак этих слов-амеб – их кажущаяся “научность”. Скажешь *коммуникация* вместо старого слова *общение* или *эмбарго* вместо *блокада* – и твои банальные мысли вроде бы подкрепляются авторитетом науки. Начинаешь даже думать, что именно эти слова выражают самые фундаментальные понятия» [Кара-Мурза 2002: 90]. Отметим, что выбор метафорического именования в данном случае весьма точен: амеба – существо не только простейшее (слово-амеба – простейший лингвоментальный элемент), но и аморфное (как и слово, не имеющее строго окончательных, завершенных семантических очертаний), а часто – и паразитирующее (на индивидуальном и общественном сознании – и в качестве непродуктивной частицы языковой картины мира).

Почти аналогичные наблюдения делались и на материале других языков: «Самым, вероятно, страшным врагом разговорного английского является т. н. “литературный английский”. Сей занудный диалект, язык газетных передовиц, Белых книг, политических речей и выпусков новостей Би-би-си, несомненно, расширяет сферу своего влияния, распространяясь вглубь по социальной шкале и вширь в устную речь. Для него характерна опора на штампы – “в должное время”, “при первой же возможности”, “глубокая благодарность”, “глубочайшая скорбь”, “рассмотреть все возможности”, “выступить в защиту”, “логическое предположение”, “полжительный ответ” и т. д., когда-то, может, и бывшие свежими и живыми выражениями, но ныне ставшие лишь приемом, позволяющим не напрягать мысль, и имеющие к живому английскому языку отношение не большее, чем костыль к ноге» [Оруэлл 1989а: 332]. – «Меня вызвали в военное министерство, опросили и внесли в список на случай национальной опасности... Всё лихорадочно подготавливалось к национальной опасности. В этом темном министерстве слово “война” не произносилось, на нем лежало табу; нас должны были призвать, если возникнет “национальная опасность” – не военная смута, которая есть акт человеческой воли, не такие ясные и простые вещи, как гнев и расплата, нет, национальная опасность – нечто являющееся из глубины вод, чудовище с безглазым ликом и хлещущим хвостом, которое всплывает со дна морского» [Во 1974: 484].

Кроме того, употребление слов-амеб – одно из слагаемых престижности речедеятеля, залог его жизненного успеха (особенно в современном понимании) и высокого статуса (во всяком случае, владеющего набором слов-амеб трудно упрекнуть в неконформистском вербаль-

ном поведении: он – такой же, «как все», соблюдает установленные правила игры в слова). «Слова-амебы – как маленькие ступеньки для восхождения по общественной лестнице, и их применение дает человеку социальные выгоды. Это и объясняет их “пожирающую” способность. В “приличном обществе” человек обязан их использовать» [Кара-Мурза 2002: 90]. Ср. пример воспроизведения одного из характерных лексических фрагментов культурно-речевой ситуации начала 20-х годов XX в. – в реплике персонажа, который «про совесть чего-то не помнит», зато «может угодить любому начальству» и, по-видимому, способен сделать удачную служебную карьеру: «“Вы скажите *конкретно*: чего я напорол? – взъерился Зайцев. – *Конкретно* скажите...” Оно тогда только входило в моду, это слово “конкретно”, пришедшее в быт от политики, от яростных митинговых речей. Не всем еще ясен был его точный смысл, но почти все хотели его произносить. И Зайцеву нравилось это слово...» [Нилин 1990: 494–495]. В сегодняшнем российском словоупотреблении приблизительно таковы *эксклюзивный, креативный, позитивный, элитный, гламурный и продвинутый* – индикаторы «продвинутости» адресанта, т. е. его соответствия самым современным критериям поведения, причем не только речевого (почти парольную функцию в официозе в то же время выполняют *инновационные технологии, амбициозный* – как мелиоративное [!], *оптимизация* – когда имеется в виду нечто прямо противоположное, и проч.).

Говоря о «модных словах, или словах-метеорах», отмечают, что они не появляются в одиночку, а влекут за собой другие подобные не только в тексте и абзаце, но даже в одной фразе; «такие речевые обороты приобретают характер эпидемии... Прimitивизация стиля и обеднение выбора слов создают видимость языкового комфорта и... фатально снижают культурно-интеллектуальный уровень общения» [Комлев 2003: 107]. Скажем, основные причины повального распространения иноязычных заимствований в современной русской речи объясняют либо необходимостью выразить нечто новое, либо «обезьяньим пристрастием самозванных “элит” к самолюбованию» [Колесов 2004в: 206] (ср. там же: «А если... человек в состоянии повышенного комфорта и безделья превратился в обезьяну? Тепло, обилие пищи, все удобства под рукой – евростандарт... Сегодня на переход в обезьянье царство претендуют многие лощеные джентльмены» [Колесов 2004в: 39]).

Вербальная магия

Весьма интересны случаи (вовсе не редкие) отсутствия лексического значения у слова либо составного наименования, причем отсутствия программируемого и преднамеренного. Иначе говоря, коммуникативная ценность таких языковых единиц должна быть равной нулю, но в культурологическом отношении и они становятся значимыми. «Полный отказ от разумного смысла – уже характерный признак языка жрецов и оракулов у первобытных народов, языка, порою впадающего в совершеннейшую бессмыслицу» [Хёйзинга 1997: 140]; ср.: «Глухо стала ворчать она [панночка-ведьма] и начала выговаривать мертвыми устами страшные слова; хрипло вспыхивали они, как клокотанье кипящей смолы. Что значили они, того не мог бы сказать он, но что-то страшное в них заключалось. Философ в страхе понял, что она творила заклинания» [Гоголь 1952, 2: 185].

Й. Хёйзинга, характеризуя язык магических построений, вещаний оракула, колдовских заклинаний, называет его «лирическим»: «Лирика [в очень широком смысле] в наибольшей степени пребывает в первоначальной сфере игры... Поэт наиболее приближается к наивысшей мудрости – но и к бессмыслице. ...Сама сущность лирики состоит в том, что она вырывается за пределы сковываемого логикой разума» [Хёйзинга 1997: 140].

Впрочем, «хоть это и безумие, но в нем есть последовательность» [Шекспир 1960, 6: 53]. Таким образом по-своему логично организован «заумный язык»; ср.: «Повесть строится из слов как строительной единицы здания. Единицей служит малый камень равновеликих слов... Рассказ есть зодчество из слов ... [Зангези:] Пойте все вместе за мной! Гоум. Оум. Уум. Паум. Соум меня И тех, кого не знаю. Моум. Боум. Лаум. Чеум. – Боум! Бим! Бам!» [Хлебников 1986: 473, 482], с последующей авторской дешифровкой; «*Вьум* – это изобретающий ум... *Гоум* – высокий, как эти безделушки неба, звезды, невидные днем. У падших государей он берет выпавший посох *Го*. *Лаум* – широкий, разлитый по наиболее широкой площади, не знающий берегов себе, как половодье реки. *Оум* – отвлеченный, озирающий все кругом себя, с высоты одной мысли... *Чеум* – поднимающий чашу к неведомому будущему. Его зори – чезори. Его луч – челуч. Его пламя – чепламя. Его воля – чевоя. Его горе – чегоре. Его неги – ченег» и т. п. [Хлебников 1986: 483].

См. также следующее теоретическое обоснование этих изощрений: «**Говорят**, что стихи должны быть понятны. <...> С другой стороны, почему заговоры и заклинания так называемой волшебной речи, священный язык язычества, эти “шагадам, магадам, выгадам, пиц, пац, пацу” – суть вереницы набора слогов, в котором рассудок не может дать себе отчета, и являются заумным языком в народном слове. Между тем этим непонятным словам приписывается наибольшая власть над человеком, чары ворожбы, прямое влияние на судьбы человека. В них сосредоточена наибольшая чара. Им предписывается власть руководить добром и злом и управлять сердцем нежных... Волшебный язык заговоров и заклинаний не хочет иметь своим судьей будничным рассудок» [Хлебников 1986: 633–634].

Конечно, возможны и иные оценки таких экспериментов, например: «...Хотят сбросить бремя слова как воплощенного смысла, ринуться в непроглядную ночь звука... Но в этом и коренятся главные недоразумения и фиаско, ибо все-таки хотят говорить, не хотя слóва, его низвергая в дословный хаос звуков... Футуристы правы: заумный, точнее доумный язык есть, как первостихия слова, его материя, но это – не язык... Это такое хвостовство хаосом...» [Булгаков 1953: 42].

При этом некоторые нововводимые элементы общественно-политической лексики и фразеологии неоднократно также рассматривались и оценивались как выполняющие исключительно магическую функцию. Это относится, в частности, к сложносокращенным словам советской эпохи. Конечно, следует предварительно заметить, что распространение явления

аббревиации в русском языке специалисты приурочивают еще к дореволюционному периоду, когда в ходу были сложносокращенные названия синдикатов (Продуголь, Ростоп, Продаруд, Юротат, Продамет, Лензото и др.), а также военно-профессиональные именованья, актуализированные во время первой мировой войны (вроде *дегенрум* – дежурный генерал армии, *штабад* – адъютант штаба, ГАУ – Главное артиллерийское управление и т. п.) [Лексика 1981: 201–202]. Однако процесс аббревиации чрезвычайно активизировался особенно после октября 1917 г.; еще раз скажем, что некоторые (если не многие) современники этих событий усматривали в советских аббревиатурах черты вербальной магии. Ср.: «*Чека, цик, ревком* и огромная масса других, не менее диких сочетаний, совершенно невразумительных для непосвященных: ...“*всем губпотелькомам цекапот*”, *наркомпочтель*. В наше время нельзя взять в руки газету или брошюру последнего времени, прочесть объявление или вывеску, чтобы не натолкнуться на десяток, а то и сотню подобных **магических** слов» [Баранников 1919: 77] – и: «...Иные могут похвалиться еще и тем, что теперь “куются” совсем новые слова, например, все эти **богомерзкие совдепы, викжели, земгоры** [между прочим: «“Земгор”, объединенный комитет Земского и Гор. союзов. созд. 10. 7. 1915 для помощи пр-ву в орг-ции снабжения рус. армии. Ведал мобилизацией мелкой и кустарной пром-сти. Окт. рев-цию встретил враждебно, в янв. 1918 упразднен декретом СНК» [СЭС 1983: 458] – А. В.] и под. <...> Образуются новые манекены слов. Однако (и это **мистически** есть самая тяжелая сторона дела), такие слова-манекены становятся **вампирами**, получают свою жизнь, свое бытие, силу. Образуется целое облако таких мертвых слов-**ларв, вампиров**, которые сосут кровь языка и служат **черной** их **магии**. Таков **окультурный смысл** этого сквернословия» [Булгаков 1953: 32]. Заметим, что и в послесоветское время аббревиация по-прежнему продуктивна.

По-видимому, если «слова-амебы» (в понимании С. Г. Кара-Мурзы) характеризуются отсутствием связи с конкретной реальностью и минимальной, вплоть до нулевой, семантической валентностью, то симулякры (в терминологии Л. Н. Синельниковой) – «результат трансформированной реальности», хотя она уже и трансформирована посредством симулякров: «Реальность трансформируется разнообразными способами, в числе которых языковые средства занимают едва ли не ведущее место... Результатом симулякризации общества... является уменьшение числа субъектов влияния» [Синельникова 2003: 216]. Еще раз подчеркнем высокую степень преемственности таких социолингвистических феноменов – вне зависимости от типа государственно-политического устройства, во многом ими порожденного и ими же обслуживаемого: «особо живучи и неистребимы политические симулякры... “Химерические конструкции” тоталитарного прошлого спокойно перекечевали в демократическое настоящее, что дает основание говорить о симулякрах как инвариантных признаках языка власти. *Радикальные социальные преобразования, сотрудничество со всеми здоровыми силами* ... Новомодный политический лексикон продолжает культивировать мнимые денотаты, разрывая, отдалять друг от друга вербальный и предметный мир (достаточно посмотреть на многообразие контекстов употребления и коннотаций слов *лоббировать, цивилизованный, коррупция, популизм* и мн. др. или попытаться с некоторой степенью точности определить содержание понятий *экологически чистый продукт, либерализация цен, новый формат*)» [Синельникова 2003: 221–222].

В качестве не менее адекватного определения для таких «лингвистических фокусов политиков» [Осипов 2000: 211] – скорее всего, изобретаемых их подручной службой – можно предложить обозначение *мифоген*, поскольку с помощью интенсивного внедрения слов, словосочетаний, словесных блоков, лишенных денотативной основы и виртуализирующих действительность, порождаются новейшие мифы, которые, в конечном счете, лишают индивидуальное и общественное сознание способности к полноценной самостоятельной ориентации, всецело подчиняя его воле мифотворцев, транслируемой через все подвластные им каналы.

Российская перестроечно-реформаторская речевая практика в этом отношении представляет внимательному наблюдателю весьма обширный иллюстративный материал. Напри-

мер: *человеческий фактор* (кстати, наиболее чуткие и предусмотрительные отечественные лингвисты незамедлительно изобрели *человеческий фактор в языке* – в языке, творимом, используемом и изучаемом человеком); *общечеловеческие ценности* (почему-то им никак не соответствуют коренные интересы России и ее народа); *стратегия ускорения* (не успевшая стать даже тактикой); *новое мышление* (результаты его то ли неосмысленного, то ли слишком по-новому обдуманного кем-то применения очень хорошо известны); *стабилизация экономики* (уже вряд ли возможная в принципе); *равноправное партнерство* (изначально неосуществимое); *мировое сообщество* (обычно имеются в виду одно-два государства, иногда – чуть больше); *оптимизация бюджета* (постоянное снижение финансирования образования, здравоохранения и других жизненно важных сфер); *социальная норма* (непонятно как установленный минимум расходов электроэнергии); *монетизация льгот* (резкое ухудшение материального положения множества и без того небогатых граждан); *правовое государство...*

Без слов

Вполне естественно, что речевой поток нельзя назвать абсолютно недискретным – по крайней мере, в частных его монологических и диалогических проявлениях: возникают паузы, как вынужденные и обусловленные, так и произвольные, спонтанные, но во многих случаях способные быть весьма эффективными.

Иначе говоря, информативно и эмоционально значимым становится само отсутствие высказывания (в том числе – единичного словесного знака), что по-своему тоже может влиять на поведение участников коммуникации, отражать и выражать их умонастроение и предрасположенность либо непредрасположенность к тем или иным действиям, образу поведения. Ср. классическое: «Народ *безмолвствует*» [Пушкин 1978, V: 280].

Своеобразная, но при этом несомненная коммуникативная ценность молчания и его роль в языковой игре кристаллизовались во фразеологизме *играть в молчанку* – «прост. ‘молчать, уклоняясь от разговора’» [МАС₂ II, 1982, 2: 294]; «разг. ирон. ‘уклоняться от прямого, откровенного разговора; отмалчиваться’» [Федоров 1995, II: 270].

Специалисты рассматривают подобные явления в разных аспектах; соответственно этому варьируется терминология.

Так, с точки зрения риторики, умолчание – «прием, состоящий в таком построении высказывания, когда часть его смысла передается не словами (не вербально), а подтекстом, с помощью намека. ...Предмет намека не ограничен тематически и может касаться любого обстоятельства, события, лица и т. д.» [Сковородников 2003: 725].

Однако в более широком аспекте, при сопоставлении молчания с теми речевыми действиями, отрицание которых и предполагает наличие самого молчания, возможно его комплексное осмысление – а) как отказа от определенного речевого действия, б) как социально оцениваемого речевого жеста, в) как лакуны, требующей или не требующей заполнения, г) как духовного, социального и пр. состояния общества – что в совокупности может позволить «получить некий культурологический портрет эпохи» [Данилов 1998: 40] (точнее, наверное, один из его фрагментов).

Предполагают, что «молчание – своеобразная речевая реальность, имеющая свою цель, план выражения и план содержания», а поэтому, как ни парадоксально, «молчание является намеренным коммуникативным актом, имеющим нулевой план выражения, но тем не менее несущим значение. Незначимое молчание не фиксируется ни в языке, ни в текстах. “Словами молчания” характеризуется ненормативное положение дел. ...Молчание... является нулевым речевым высказыванием, имеющим семантику и прагматику» [Радионова 2000: 179, 182].

В связи с этим следует говорить об актуализации феномена «нулевого знака». Так называют «значимое, обретающее самостоятельную функцию и семантику отсутствие в рамках определенного текста какого-либо объекта или действия, необходимость наличия которых строго предписывается теми или иными социальными установлениями (правилами) или контекстом. Иными словами, отсутствие объекта в контексте, неотторжимой характеристикой которого он стал на протяжении определенного этапа его функционирования, в рамках которого воспринимался в качестве его обязательного компонента. При этом факт обязательности закреплён в сознании языкового коллектива, контактирующего с этим контекстом. Семантика нулевого знака может не уступать по своей роли и информативной насыщенности семантике материально выраженного знака в традиционном понимании этого слова» [Шунейко 2005: 87].

Можно сказать, что не только возможность, но необходимость молчания как имплицитного, невыраженного – и всё же текста – предельно сконцентрированно формулируется в философическом «*Silentium!*» Ф. И. Тютчева. Почти век спустя, в 1920 г., тютчевское напутствие было доведено до совершенного абсурда поэтом Р. Роком, автором «Декрета о ничевоках поэ-

зии»: «Ничего не пишите! Ничего не читайте! Ничего не говорите! Ничего не печатайте!» (цит. по [Душенко 2006: 412]).

Ср. такое позднейшее ироническое осмысление подобного применительно к музыкальному творчеству, как изобретение принципиально нового направления «тишизм» – намеренное неизвлечение звука из музыкального инструмента – в романе Вл. Орлова «Альтист Данилов».

Весьма возможно, что это – реминисценция эпизода из произведения А. Моруа: «В мире творятся немыслимые безумства. В английских газетах сообщалось о концерте тишины, который дал однажды некий безвестный пианист. Шумная реклама сделала свое дело – в день концерта зал был полон. Виртуоз тишины садится за рояль и играет, но поскольку все струны сняты, не раздаётся ни единого звука. Люди в зале косятся друг на друга. Каждый ждет, что сделает сосед, и в результате вся аудитория сидит затаив дыхание. После двух часов гробовой тишины концерт оканчивается. Пианист встает и кланяется. Его провожают бурными аплодисментами. На следующий день виртуоз тишины рассказывает эту историю по телевизору и в заключение признается: “Я хотел посмотреть, как далеко простирается человеческая глупость: она безгранична”» [Моруа 1989: 522–523].

Такой художественно-изобразительный прием, как преднамеренное отсутствие части текста, в мировой литературе использовался неоднократно.

Так, по мнению Ю. М. Лотмана, неоднократные пропуски строф в «Евгении Онегине» были «существенным элементом создаваемого [Пушкиным] нового типа повествования, построенного на смене интонаций и пересечении точек зрения, что позволяло автору возвыситься над субъективностью романтического монолога» [Лотман 1983: 166].

Этот же прием активно и постоянно используется в СМИ, правда, с некоторыми вариациями: может отсутствовать информация о каких-либо событиях, имевших место в действительности, и/или об их реальных участниках; из дискурса СМИ могут быть исключены те или иные ассоциативно продуктивные лексико-фразеологические единицы, что может существенно корректировать мировоззрение аудитории. Ср.: «Придворный географ вместе с историком должны были представить обстоятельные сообщения об этой стране [вызвавшей гнев их повелителя. – А. В.]. Они оба согласились на том, что Джиннистан – прежалкая страна, без культуры, просвещения, учености, акаций и прививки оспы, и даже, по правде говоря, вовсе не существует. А ведь ни для человека, ни для целой страны не может приключиться ничего худшего, как не существовать вовсе» [Гофман 1991: 232–233]. – «Этот вид искажения информации [умолчание] открывает еще большие возможности для манипуляции, нежели прямая ложь» [Кара-Мурза 2002: 241].

Слово и миф

Исходя из того, что «всякое абстрактное выражение есть речевой образ, всякий речевой образ есть не что иное, как игра слов» [Хёйзинга 1997: 24], Й. Хёйзинга предлагал обратиться к мифу, «который тоже есть образное претворение бытия, только более подробно разработанное, чем отдельное слово. С помощью мифа люди пытаются объяснить земное, помещая основание человеческих деяний в область божественного. В каждом из тех причудливых образов, в которые миф облакает всё сущее, изобретательный дух играет на грани шутливого и серьезного»; то же относится к области религиозного культа: «Раннее общество совершает свои священнодействия, которые служат ему залогом благополучия мира... в ходе чистой игры в самом прямом смысле этого слова. В мифе и культе зачинаются, однако, великие движущие силы культурной жизни: право и порядок, общение и предпринимательство, ремесло и искусство, поэзия, ученость, наука. И все они, таким образом, уходят корнями в ту же почву игровых действий» [там же].

Справедливо, что «сейчас в науках о культуре и в исследованиях о культуре, советской в частности, принято трактовать миф как искажение, извращение реальной картины мира (подлинно научной); или как примитивную донаучную форму сознания; или как заблуждение, обман» [Романенко 2003: 220]. Подобные трактовки и интерпретации отечественными мыслителями, и особенно руководителями, значительного и значимого периода истории, и не только собственно российской, но мировой, в общем-то, не удивительны: в их поведении есть своя логика – логика отступников. Кстати, любопытно, что до сих пор не получили широкой огласки случаи возврата в государственную казну дивидендов, ранее полученных прорабами перестройки и чернорабочими реформ за их прежнее активное участие в строительстве коммунизма и пропаганду соответствующих идей; равным образом деятели искусств (шоу-бизнеса), ныне известные как стойкие антикоммунисты, по каким-то причинам не возражают, когда их публично представляют, например, как «народных артистов СССР»... С другой стороны, в процессе этой перманентной кампании как будто не замечается сотворение новых мифов (в том числе и о современности), ничуть не более соответствующих действительности, чем какие-нибудь голливудские «байки из склепа».

Очевидная сложность, если не вообще невозможность, однозначной и адекватной квалификации понятия «миф» стала причиной вариативности мнений ученых об этом феномене. Ср.: «Обыкновенно полагают, что миф есть басня, вымысел, фантазия. Я понимаю этот термин как раз в противоположном смысле. Для меня и миф – выражение наиболее цельное и формулировка наиболее разносторонняя – того мира, который открывается людям в культуре, исповедующим ту или иную мифологию. <...> Словом, миф есть наиболее реальное и наиболее полное осознание действительности, а не наименее реальное, или фантастическое, и не наименее полное, или пустое» [Лосев 1993: 772–773]. – «Что такое творчески данное и активно выраженное самосознание? Это есть *слово*. В слове сознание достигает степени самосознания... Слово есть не только понятая, но и понявшая себя сама природа... Миф не есть историческое событие как таковое, но он всегда есть *слово*...» [Лосев 1991: 133–134]. «Слово всегда глубинно-перспективно, а не плоско. Таков же и миф. Миф или прямо словесен или словесность его скрытая...» [Лосев 1991: 62] – «...Богатый и можно сказать – единственный источник разнообразных мифических представлений есть живое слово человеческое» [Афанасьев 1988: 50, 39]. – «Словесный знак скрывает за собою самые различные оттенки выражения мысли (в значении *mens, mentis*), и не только символы, но также образы, понятия, мифы и т. п.» [Колесов 1995: 15].

Образно описывая реалии современной России, в том числе – и культурно-речевую ситуацию, В. В. Колесов замечает: «Культура обычно определяется как информационно-мифоло-

гизированное поле сознания и подсознания. Сегодня это поле захвачено и перепахивается чуждой культурой другой цивилизации, засеивается сорняками, заболачивается и окисляется с особым усердием... Нынешний мир интеллигенции виртуален: в действительности, в явленности своих проявлений нет ни культуры, ни самой интеллигенции. Культура и идея представлены в идее, идеальны. Сущность без явления, – миф... Сущности нет – остается одна идея, или... миф» [Колесов 1999: 214–215, 223] (здесь же приводится ряд примеров, позволяющих верно оценить успехи сегодняшнего россияно-псевдоинтеллигентского мифотворчества, которое имеет своими корнями по преимуществу импортный номинализм: «...Если существуют термины типа “фашист” – значит фашисты где-то рядом, их нужно искать, и обязательно отыщешь. В этом интеллигент [? – А. В.] и представляет себе формы политической “борьбы”: искать противника по терминам-кликхам, приписывая ему, быть может, собственные свои пороки» [Колесов 1999: 216]. Ищите – и обряцете... По той же самой номиналистской логике, иногда и от обратного: в Москве существует какое-то «антифашистское движение» «Антифа» (пока еще неизвестно кем инспирированное и финансируемое), а раз есть движение с таким названием, значит, в России есть и фашисты (точнее, тот самый фантомный «русский фашизм»), а вот если бы их не было, то не было бы антифашистского движения, и т. д...

Известны и другие определения, например: «Миф – обобщенное представление о действительности, сочетающее и нравственные, и эстетические установки, соединяющее реальность с мистикой. То есть это всегда представление в значительной мере иллюзорное, но в силу своей этической и художественной привлекательности оказывающее большое воздействие на массовое сознание. ...Мифы... становятся частью традиции и играют важную роль в легитимации общественного строя в идеократических государствах. Однако миф... и в современном обществе не утратил своего значения как важной формы общественного сознания и представления действительности» [Кара-Мурза 2002: 205].

Правила игры

Как известно, игра вполне может быть нечестной; это, несомненно, относится и к игре слов, хотя и понимаемой все-таки не так безбрежно-широко, как это делал Л. Витгенштейн. Более того: она может быть одинаково нечестной для обоих (или всех) ее участников. Такое вполне возможно, если по их согласию (пусть молчаливому) будут установлены определенные правила. Ср. следующую градацию вербального конфликта: «...Мы ссорились по книжке; есть такие книжки для изучения хороших манер. Я назову все степени: первая – **учтивое возражение**, вторая – **скромная насмешка**, третья – **грубый ответ**, четвертая – **смелый упрек**, пятая – **дерзкая контратака**, шестая – **ложь применительно к обстоятельствам** и седьмая – **прямая ложь**» [Шекспир 1959, 5: 108] (любопытно, что, по мнению комментатора, здесь пародируется переведенный в 1595 г. на английский язык трактат «итальянца Савболи» «О чести и честных ссорах» [Смирнов 1959: 600]). Литературный персонаж, подробно описывая выгодные стороны своей принадлежности к «непорядочному типу», говорит: «Желание соврать, с целью осчастливить своего ближнего, ты встретишь даже и в самом порядочном нашем обществе, ибо все мы страдаем этой невоздержанностью сердец наших. Только у нас в другом роде рассказы; что у нас об одной Америке рассказывают, так это – страсть, и государственные даже люди! Я и сам... принадлежу к этому непорядочному типу... Друг мой, дай всегда немного соврать человеку – это невинно. Даже много дай соврать. Во-первых, это покажет твою деликатность, а во-вторых, за это тебе тоже дадут соврать – две огромных выгоды разом» [Достоевский 1957, 8: 229].

Полагают, что искушенность в симпатической магии, столь важной составляющей большинства ранних религиозных культов (по Й. Хейзинге, в то время культ – воплощение чистой игры в самом прямом смысле этого слова [Хейзинга 1997: 24]), позволяла достичь власти тому, кто становился одновременно царем – и магом и жрецом [Фрэзер 1983: 18]. «Неудивительно, что этот последний род занятий привлекает внимание наиболее способных и честолюбивых членов племени, так как в перспективе эта карьера, как никакая другая, сулила почет, богатство и власть. Самые смысленные из них начинают понимать, как легко можно одурачивать своих более доверчивых собратьев и обращать себе на пользу их суеверия... Способнейшие представители этой профессии, должно быть, становятся более или менее сознательными обманщиками. Именно эти люди благодаря выдающимся способностям [к обману окружающих, как следует из дальнейшего. – А. В.] обычно добиваются наибольшего почета и наивысшей власти... На данной ступени общественного развития высшая власть, как правило, попадает в руки людей наиболее проницательных и наименее разборчивых в средствах» [Фрэзер 1983: 50–51]. Наличие последнего качества, вероятно, характерно не только по отношению к деятелям давнего прошлого; на этом фоне далеко не бесспорным представляется тезис о том, что «хитрый мошенник, как только он удовлетворил честолюбие, не преследует более никакой корыстной цели и может (что он часто и делает) обратить свои способности, опыт и возможность на службу обществу» [Фрэзер 1983: 51]. Напротив, с учетом статуса адресатов их вербальная обработка продолжается, а бескорыстное служение такого властителя обществу весьма гипотетично.

Уже издревле социально-имущественная дифференциация учитывается как приоритетная в формировании модели поведения государя: «Подавляй чернь, гаси пыл ее, – не склонны к восстанию богатые, бедняки же замышляют вражду» [Почтение 1978: 207], а потому и в последующие эпохи: «Мы ли не правы, скажи? Без обмана возможно ли с чернью? Сам погляди, до чего дик и разнуздан народ!» [Гёте 1987: 31].

«Структурный коннотативный компонент безнравственности, который по отношению к лжи мы определили бы как лживость, слово приобретает в речи, когда продуцируется заведо-

мая ложь. Масштабы разрушений, производимые такими словами, могут принимать для человека катастрофический характер. Это зависит от многих факторов: кем в иерархической структуре общества распространяется заведомая ложь, в каких масштабах, насколько глубоко она овладевает сознанием общества и другими причинами» [Гируцкий 1996: 122].

Вот одна из возможных модификаций такой игры, являвшаяся, согласно литературно-художественному тексту, доминантной этической константой третьего рейха: «...Народ [Германии] верил этим ответам, которые ему готовили люди, не верившие ни в один из этих ответов. Цинизм был возведен в норму политической лжи, ложь стала необходимым атрибутом повседневности. Появилось некое новое, невиданное ранее понятие “правдолжи”, когда, глядя друг другу в глаза, люди, знающие правду, говорили друг другу ложь, опять-таки точно понимая, что собеседник принимает эту необходимую ложь, соотнося ее с известной ему правдой» [Семёнов 1985: 300]. Впрочем, любому, более или менее сведущему в истории (да и в современных событиях), должно быть известно, что суждения, подобные приведенным, можно экстраполировать на ситуации разных эпох и типологически различные государственно-политические устройства; причем, как правило, «знающие правду» (т. е. владеющие исчерпывающей объективной информацией об истинном состоянии дел) сами вовсе не склонны придерживаться ни этой правды, ни служить образцом применения высоких этических принципов. Обычно так поступают облеченные широкими властными полномочиями, и это отнюдь не случайно.

Так, Н. Макиавелли в одной из глав своего известнейшего труда, названной «О том, как государи должны держать слово», пишет: «Излишне говорить, сколь похвальна в государе верность данному слову, прямодушие и неуклонная честность. Однако мы знаем по опыту, что в наше время великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и умел, кого нужно, обвести вокруг пальца; такие государи в конечном счете преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность... Разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание. Такой совет был бы недостойным, если бы [интересно, что вот здесь в качестве объяснения используется то, что сегодняшние пропагандисты именуют «человеческим фактором». – А. В.] люди честно держали слово, но люди, будучи дурны, слова не держат, поэтому и ты должен поступать с ними так же. А благовидный предлог нарушить обещание всегда найдется... Надо быть изрядным обманщиком и лицемером, люди же так простодушны и так поглощены ближайшими нуждами, что обманывающий всегда найдет того, кто даст себя одурачить» [Макиавелли 1993: 291]. (Ср.: «Первый или главный государственный министр... пользуется словами для самых различных целей, но только не для выражения своих мыслей... Наихудшим предзнаменованием для вас бывает **обещание**, особенно когда оно подтверждается клятвой; после этого каждый благоразумный человек удаляется и оставляет всякую надежду» [Свифт 1989: 271].)

О применении на практике этих рекомендаций (деятелями, даже не обязательно знакомыми с теоретической стороной вопроса; ср. оригинальный виртуозный пассаж: «Принципы, которые были принципиальны, были непринципиальны» (В. Черномырдин) [gazeta.ru]), как и о взаимной готовности сторон к такой игре в слова (пусть даже одна из сторон – именуемая обычно «населением» – о своем участии в игре совершенно не подозревает либо догадывается очень смутно) можно судить и по самым современным примерам. Ср. воспроизведение решительных высказываний памятного российского политика – и их интерпретацию «уважаемыми россиянами»: «*“Реформы начали работать! Это – главное!”* – “Видишь, говорит: мыло надо закупать, соль, спички”. *“С первого числа! зарплату! всем вовремя!”* – “Денег, говорит, нету”. *“Беру! Под личный, понимаешь, контроль”*. – “Вот как! Нету, говорит, денег и не будет”» (цит. по [Семенюк 2001: 275]). Конечно, в эпоху перемен многие персонажи и декорации на политической сцене чередуются исторически быстро (иногда – просто до непри-

личности поспешно), но парадигма поведения остается прежней; интрига действия постоянно обеспечивается вербальными актами сверху – и малокритичным восприятием их на веру в низу социальной пирамиды (лестницы и т. п. – короче говоря, иерархии). Ю. Поляков декодирует афористическое название своей статьи «От империи лжи – к республике вранья» (1992), в частности, следующим образом: «...Мы были империей лжи, но заметьте: это была ложь во спасение... Сама ложь эта скорее напоминала заклинания... На ее [«империи лжи»] развалинах возникло не царство правды, а обыкновенная республика вранья. Если огрубить ситуацию и выделить тенденцию, то люди решительно прекратили лгать ради “государственных устоев”, взапуски начав врать в корыстных интересах... Ложь стала первой и пока единственной по-настоящему успешно приватизированной государственной собственностью... Стоит ли удивляться, как почти все наши более или менее крупные политики меняют убеждения в зависимости от “погоды”... Вообще может показаться, что нас с вами держат за слабоумных» [Поляков 2005: 67–69]. – Ср. у классика: «Тьмы низких истин мне дороже / Нас возвышающий обман...» (с эпиграфом: «Что есть истина?») [Пушкин 1977, III: 189].

При этом, наверное, возможны некоторые варианты. Допустимо предположить, что далеко не все получатели (может быть, даже исключительные единицы) способны отличить истинную информацию от ложной, оценить степень ее достоверности; как выразился литературный персонаж, мошенник, «ведь все дураки в городе за нас стоят! А дураков во всяком городе куда больше, чем умных» [Твен 1978а: 372]; конечно, в таких случаях надо учитывать не только степень умственных способностей адресата (индивидуального или коллективного), но также его культурно-образовательный уровень, изначальную настроенность на обдумывание сообщения – или ее отсутствие; наличие навыков самостоятельного анализа получаемых сведений; убежденность в определенных фундаментальных ценностях – и, соответственно, способность противостоять информационно-психологическому воздействию при твердой развитой внутренней установке воспользоваться одним, несколькими или всеми этими свойствами.

Однако с тем же успехом нельзя совершенно исключать и несколько иной характер коммуникативной ситуации, а именно: когда адресант (например, политик или сотрудник СМИ) искренне считает, что сотворенное или транслируемое им высказывание безусловно истинно: «корреспондент лгал в газетах, но ему казалось, что он писал правду» [Чехов 1956, 10: 486].

Может быть, в таких случаях в качестве некоего компенсаторно-защитного механизма у адресанта активизируется программа самовнушения (автосуггестии), ср.: «врал-врал, и до того увлекся, что и сам себе начал верить...» [Твен 1978а: 392]. Проводя параллель с некоторыми положениями российского гражданского права, можно назвать распространителя информации, в истинности которой он совершенно уверен, но которая на самом деле является абсолютно ложной, «добросовестным приобретателем» (ч. 1, ст. 302 Гражданского кодекса РФ в ред. от 02.07.05).

Впрочем, решающим фактором мифотворчества, по сравнению с вышеупомянутыми, является тот, который находится, так сказать, «по ту сторону добра и зла», а именно – эффективность вербальных операций: мораль и этика не в счет. Американский социолог Г. Ласуэлл, которого считают основоположником научного направления, посвященного роли слова в пропаганде, создал целую систему; ядром ее стали принципы создания «политического мифа» с помощью подбора соответствующих слов. При этом всё определяет исключительно критерий действенности: «политический миф – это комплекс идей, которые массы готовы рассматривать в качестве истинных независимо от того, истинны они или ложны в действительности» (цит. по [Кара-Мурза 2002: 89]).

Кстати, такой подход к конструированию мифов предоставляет потребителям информации возможность принять участие еще в одной игре: попытаться различить истину и ложь, хоть и без особой надежды на выигрыш. «Указывая на денотацию каких-то объектов, коммуникатор может подразумевать нечто совершенно другое. И это “совершенно другое” более или

менее адекватно угадывается реципиентом. Более того, угадывание прогнозируется и планируется говорящим. Этот процесс... делает более впечатляющим эффект сообщения» [Комлев 2003: 133]. Другой вопрос, *все* ли адресаты склонны и способны к игре в такую «угадайку», но это уже не является решающим фактором.

Можно вполне обоснованно экстраполировать понятие игры слов на такое явление, как ложь, лексикографически дефинируемое, например, следующим образом: «*ложь* – ‘неправда, намеренное искажение истины; обман’» [МАС₂ 1982, II: 197]. Известно, что «каждое слово представляет собою особый микромир, в котором отражается какой-то кусочек реальной действительности или **отклонений** от нее (нередко весьма значительных)» [Филин 1984: 16].

Н. Г. Комлев полагает очевидным, что «для установления как истинности, так и правильности высказывания необходимо раскрытие денотативных связей... Корреляция лексических понятий с денотатами (соответственно знакового и понятийного уровней с денотативными) манифестирует так называемый смысл, а также служит основанием деления фраз на истинные и ложные. В сопряжениях содержательных элементов слова иногда выступают сдвиги, отклонения и просто неверные когеренции» [Комлев 2003: 114]. Упоминая о возможности образования вследствие этого (со ссылкой на Г. Вайнриха) т. н. ложных понятий – «слова-понятия могут быть ложными, даже если взяты изолированно [это суждение до некоторой степени перекликается с вышеприведенным суждением Ф. П. Филина. – А. В.], поскольку за ними стоит невыраженный контекст-дефиниция» (ср. все-таки: «слова живут не вне контекстов их употребления» [Филин 1982: 226]), Н. Г. Комлев замечает: «Не надо забывать об условности таких оценок слов. Ведь сами знаки никаких суждений не выражают и выражать не могут. Это способны делать только люди, пользующиеся языком» [Комлев 2003: 114]. С этим сопряжено еще одно немаловажное обстоятельство: «...Ценности высказываний определяются не их отношением к языку (как чисто лингвистической системе), а разными формами отношения к действительности, **к говорящему субъекту** и к другим (чужим) высказываниям» [Бахтин 1986б: 319].

Играть в слова по своим правилам нравится многим представителям гуманитарных наук. Например, социологам из ВЦИОМа, 09–11.01.10 задавшим представителям российского населения вопрос: «Как вы считаете, что сейчас важнее для России – демократия или порядок?». Респонденты, которым дали таким образом понять, что «демократия» и «порядок» – вещи противопоставленные, разделились с явной неравномерностью: 72 % выбрали вариант ответа «порядок, даже если для его достижения придется пойти на некоторые нарушения демократических принципов и ограничения личных свобод», и лишь для 16 % оказалась предпочтительнее «демократия, даже если последовательное соблюдение демократических принципов предоставляет определенную свободу разрушительным и криминальным элементам»; а 12 % так и «затрудились ответить» на виртуозно сформулированный вопрос, априорно ограничивающий и изолирующий «демократию» от «порядка» [ГН. № 53. 15.04.10. С. 1].

Весьма интересными представляются наблюдения и выводы, сделанные Л. Н. Синельниковой по поводу «симулякров»: «...Всё можно заменить на всё, переставить местами, оторвать от логики здравого смысла, убрать различительные признаки. И далее – по нарастающей: всё игра, кажимость, мнимость, и доверять чему бы то ни было опасно. Слово *симулякр* – от *симуляции*. Симуляция – это притворство, ложное утверждение или изображение чего-либо с целью ввести в обман... Если это явление становится социально значимым, влияет на общественное сознание и стремится изменить культурный код, – симуляция приобретает новое качество и становится симулякром. Реальным провозглашается то, что симулируется» [Синельникова 2003: 216–217]. Уже это само по себе следует считать чрезвычайно важным для формирования этических норм общества – или их деформации и деструкции. Однако, по справедливым суждениям цитируемого автора, такие процессы, логически продолжаясь и лавинообразно распространяясь (причем, как будет показано далее, целенаправленно через каналы СМИ), имеют

и более глубокие и долговременные результаты: «Симулякры влияют на концептуальные категории мировидения, формируют свои культурные коды в сознании... Современное состояние общественного сознания и связанной с ним языковой картины мира дает основание для расширительного применения понятия симулякра как отстраненности от смысла, убыстренного и безответственного общения, тотального распыления мысли, нечеткости и диффузности знаний... Понятия *истина*, *ложь*, *достоверность* “перемалываются” в дискурсах-симулякрах, и никто уже не пытается разобраться, что достоверно, а что нет» [Синельникова 2003: 216, 219].

Аспекты манипуляции

Согласно одной из многочисленных дефиниций, языковая игра – «сознательное манипулирование языком, построенное на необычности использования языковых средств» [Санников 1999: 37]. Впрочем, трактовать «необычность использования языковых средств» можно довольно широко; да и манипулирование оказывается – по крайней мере, в большинстве случаев – вполне сознательным, иначе его надо было бы называть как-то иначе (например, небрежностью, ошибкой и т. п.).

Известны различные определения манипуляции. Ср. следующие лексикографические дефиниции: «*манипуляция* – 1) ‘движение рук, связанное с выполнением определенной задачи, напр. при управлении каким-л. устройством’; 2) ‘демонстрирование фокусов, основанное преимущественно на ловкости рук, **умение отвлечь внимание зрителей от того, что должно быть от них скрыто**’; 3) * ‘махинация, мошенническая проделка’» [СИС 1979: 300]. Вероятно, на основе двух последних значений (одно из которых является к тому же метафорическим, что, наверное, облегчило его использование в различных сферах) развилось несколько иное – как специального термина социальных наук: «*манипуляция* – (социологич. и социально-психологич.) ‘система способов идеологич. и духовно-психологич. воздействия с помощью средств массовой коммуникации на массы с целью их подчинения бурж. ценностям и образу жизни, насаждения потребит. психологии, антикоммунистич. идеологии’» [СЭС 1983: 755]. Этот термин очевидно призван был служить отрицательно-оценочным обозначением явления, присущего враждебным социальным процессам и тем СМИ, которые их обеспечивают. Ср.: «...В условиях буржуазного общества главной функцией массовой коммуникации является социальная манипуляция общественным сознанием, адаптация населения к стандартам и канонам буржуазного образа жизни...» [Ножин 1974: 8].

Впоследствии появились и более нейтрализованные определения: «Манипуляция – это вид психологического воздействия, при котором мастерство манипулятора используется **для скрытого внедрения** в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный момент» [Доценко 1996: 60].

По-видимому, коннотация слов гнезда *манипул* – постепенно менялась: «Слово “манипулирование”, или “манипуляция”, ведет свое происхождение от латинского слова *manipulare*, в своем **первоначальном** содержании означает в совершенно **позитивном** смысле “управлять”, “управлять со знанием дела”, “оказывать помощь” и т. п.» [Зирка 2004: 134–135].

Ср. другие варианты дефиниции, подразумевающие иную оценку описываемого явления: «Манипуляция есть обман как феномен коммуникации, имеющий своего автора и исполнителя, у которых есть, в свою очередь, мотив» [Секретарева 2007: 268]; «...Скрытое возбуждение намерений, не совпадающих с актуально существующими у человека» [Кузоро 1999: 125].

Отметив, что слово *манипуляция* имеет отрицательную окраску («им мы обозначаем то воздействие, которым недовольны, которое побудило нас сделать такие поступки, что мы остались в проигрыше, а то и в дураках»), С. Г. Кара-Мурза описывает его этимологию и семантические эволюции, приведшие к такому результату: современное переносное значение слова – ловкое обращение с людьми как объектами, вещами. Оксфордский словарь английского языка трактует манипуляцию как «акт влияния на людей или управления ими с ловкостью, особенно с пренебрежительным подтекстом, как скрытое управление или обработка...»; изданный в 1969 г. в Нью-Йорке «Современный словарь социологии» определяет манипуляцию как «вид применения власти, при котором обладающий ею влияет на поведение других, не раскрывая характера поведения, которое он от них ожидает» [Кара-Мурза 2002: 15]. Одним из важных этапов в развитии метафорического употребления слова было, по мнению психоло-

гов, искусство артистов, фокусников-манипуляторов, которые добиваются эффекта, используя психологические стереотипы зрителя, отвлекая, перемещая и концентрируя таким образом его внимание. К главным, родовым признакам манипуляции относят следующие: 1) это вид духовного, психологического **воздействия**, мишенью которого являются психологические структуры личности; 2) это **скрытое** воздействие, факт которого не должен быть замечен объектом манипуляции; 3) это воздействие требует от манипулятора значительного **мастерства и знаний**; 4) это отношение к людям, сознанием которых манипулируют, не как к личностям, а **как к объектам**, особого рода вещам [Кара-Мурза 2002: 16–17].

Манипуляции – неизбежный модус поведения и атрибут и необходимый инструмент любой власти так же, как и средства массовой информации, без которых осуществление манипулятивных операций заведомо невозможно (в лучшем случае малоэффективно).

Одним из главных компонентов манипуляции обычно считают внушение (суггестию): «...это воздействие на личность, приводящее либо к появлению у человека помимо его воли и сознания определенного состояния, чувства, отношения, либо к совершению человеком поступка, непосредственно не следующего из принимаемых им норм и принципов деятельности. Объектом внушения может быть как отдельный человек, так и группы, коллективы, социальные слои» [Кузоро 1999: 120]. Предпосылки внушения оцениваются зачастую столь же негативно, сколь и сама манипуляция: его определяют и как «специально организованный вид коммуникации, предполагающий некритическое восприятие сообщаемой информации» [Мельник 1999: 58].

Вряд ли можно считать всегда абсолютно верными даже в своей отправной точке попытки абсолютного разграничения, правда, в какой-то степени несхожих, но всё же весьма и весьма близких явлений; ср.: «Внушение отличается, к примеру, от пропаганды тем, что основано на принципе взаимодействия и стремится удовлетворить как того, кто внушает, так и объекта внушения, тогда как пропаганда стремится добиться реакции, способствующей реализации желаемых самим пропагандистом целей» [Секретарева 2007: 267]. Конечно, довольно распространены ситуации, подобные описанной классиком:

Но притворитесь! Этот взгляд
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад! [Пушкин 1977, II: 303].

Однако едва ли можно считать такую модель поведения реципиента внушения универсальной; скорее, все-таки наоборот. Кроме того, существительные *внушение* ('воздействие на волю и сознание человека с целью внушить ему какие-л. мысли, убеждения, чувства') [МАС₂ 1981, I: 190]) и *пропаганда* ('политическое или идеологическое воздействие на широкие массы, а также органы и средства, с помощью которых осуществляется это воздействие' – *Коммунистическая пропаганда. Буржуазная пропаганда*) [МАС₂ 1983, III: 508]) тесно взаимосвязаны посредством общего семантического компонента *воздействие* – 'действие, направленное на кого-, что-л. с целью добиться, достичь определенного результата' [МАС₂ 1981, I: 199]. Таким образом, противопоставлять внушение пропаганде возможно лишь с учетом преимущественной профессиональной сферы употребления каждого из них (например, медицинской – и политической).

Именно о манипулятивных потенциях языка сегодня упоминают всё чаще, что свидетельствует о растущей актуальности проблем интересующего нас круга.

«Язык как система понятий, слов (имен), в которых человек воспринимает мир и общество, есть самое главное **средство подчинения**... Первоначальной функцией слова на заре человечества было его **суггесторное** воздействие» [Кара-Мурза 2002: 84]. Подобные сужде-

ния находим у лингвистов, которые в ряде случаев подчеркивают невозможность четкого и безусловного разграничения манипулятивных и «неманипулятивных» речевых актов, например, «из-за крайней сложности квалификации и проведения черты между просто речевым воздействием, без которого нет и не может быть естественного общения людей (**любой речевой акт суггестивен**), и манипуляцией» [Голев 2007: 11]. Ср.: «Любой акт речевого общения не происходит ради самого общения: коммуниканты всегда преследуют определенные речевые цели, которые в итоге влияют на деятельность собеседника» [Секретарева 2005: 266] – и: «Любой акт коммуникации, вербальной или невербальной, призван воздействовать на ее участника. Даже фатическое общение имеет целью как минимум возбудить внимание к тому, кто такое общение инициирует. Даже нейтрально-информативный монолог типа научного сообщения имеет целью как минимум побудить слушателей вникнуть в его содержание...» [Осипов 2007: 217].

Несомненно, что и «текст закона в каком-то отношении является узаконенным манипулятивным текстом» [Бринёв 2005: 158].

Запоздало смелые обличения «советского новояза» всё заметнее сменяются интересом к современным феноменам манипулятивного использования языка, четко наблюдающимся прежде всего в сферах политической (в том числе – управленческой) и коммерческой (рекламный бизнес) деятельности. К справедливому в общем суждению по этому поводу Н. Д. Голева («манипулятивное использование языка всё больше трансформируется в сильнейшее средство борьбы за власть... и за деньги») следовало бы, наверное, добавить, что борьба за власть зачастую (или всегда?) оборачивается борьбой за деньги – и *vice versa*; при этом о «правах личности» [Голев 2007: 11] вспоминают крайне избирательно: если личность не претендует ни на власть, ни на деньги (и не обладает ими), то ее права вряд ли кого-либо серьезно интересуют. В свете философии информационной войны, слова естественного языка легко можно превратить в носителей скрытой угрозы для сложных самообучающихся систем (человека, социальной группы, государства); поскольку «словом можно активизировать т. н. типовые программы агрессии, смеха, плача, жалости и т. п., которые не являются скрытыми и в принципе могут контролироваться сознанием хозяина. Аналогичным образом можно сформулировать скрытую программу и определить для нее ключ. ... Можно, используя слово, заставить человека или компьютер самостоятельно сгенерировать нужную программу, которая послушно будет ждать своего часа активизации» [Расторгуев 2003: 243].

Упомянутую выше «необычность использования языковых средств» [Санников 1999: 37] можно трактовать в том числе и как некогерентность дискурса, т. е. отрыв слова от сути явления, возможность искажать реальность, мифологизировать представление о ней [Синельникова 2002: 189].

Манипуляции словом

Проблемы манипулятивных технологий, методов речевого воздействия на индивидуальное и общественное сознание рассматриваются специалистами в разных аспектах, среди которых, на наш взгляд, главным является анализ особенностей употребления лексико-фразеологических элементов в соответствующих дискурсах средств массовой информации.

«...Политика – это всегда борьба за власть, а в этой борьбе победителем обычно становится тот, кто лучше владеет коммуникативным оружием, кто способен создать в сознании адресата необходимую манипулятору картину мира. Например, опытный политик не будет призывать к сокращению социальных программ для малоимущих, он будет говорить только о “снижении налогов”. Однако хорошо известно, за счет каких средств обычно финансируется помощь малообеспеченным гражданам. Умелый специалист будет предлагать бороться за социальную справедливость, за “сокращение пропасти между богатыми и бедными”, и не всякий избиратель сразу поймет, что это призыв к повышению прямых или косвенных налогов, а платить их придется не только миллионерам. Точно так же опытный политик будет говорить не о сокращении помощи малоимущим, а о важности снижения налогов, однако легко предположить, какие именно статьи бюджета пострадают после сокращения налоговых поступлений» [Будаев, Чудинов 2006: 19].

Весьма распространены и извержения политиками словесных потоков, лишенных сколько-нибудь внятного логического содержания.

Образцом смысловой пустоты высказывания при обилии употребляемых слов может служить монолог министра из сатиры А. К. Толстого «Сон Попова», где дан собирательный речевой портрет гримирующегося под либерала сановного бюрократа 60–70-х годов XIX века:

...Прошло у нас то время, господа —
Могу сказать: печальное то время, —
Когда наградой пота и труда
Был произвол. Его мы свергли бремя.
Народ воскрес – но не вполне – да, да!⁵
Ему вступить должны помочь мы в стремя,
В известном смысле сгладить все следы
И, так сказать, вручить ему бразды.
...России предстоит,
Соединив прошедшее с грядущим,
Создать, коль смею выразиться, вид,
Который называется присущим
Всем временам; и, став на свой гранит,
Имущим, так сказать, и неимущим
Открыть родник взаимного труда.
Надеюсь, вам понятно, господа? [Толстой 1981, 1: 294–295].

Примерно столь же многословны и при этом малосодержательны были выступления первopоследнего президента СССР.

Поэтому остается актуальным известнейшее речение: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные: по плодам их узнаете их» [Матф., 7; 15–16]. Относительно современной ситуации при демократической системе

⁵ Ср.: «Когда убили женщину-журналиста, нация **вздрыгнула, но не до конца**» [И. Хакамада. Новости. ТВ-6. 24.11.98].

правления «определить, чьи интересы: наши – отечественные или чужие – заморские, будет отстаивать “избранник”, тоже несложно. Достаточно посмотреть на те персонажи, которые его поддерживают, не столько на слова, сколько на конкретные дела, неизбежно проявляющиеся через контакты, зарубежные поездки, подписанные финансовые и другие документы, связанные с изменениями материальной сферы... Достаточно снять с глаз розовую пленку ничего не значащих слов, эмоций и веры в правоту телевизионных ведущих и их гостей» [Расторгуев 2003: 415].

Б. И. Осипов считает необходимым четкое разграничение понятий «речевое воздействие», «речевое манипулирование», «речевое мошенничество» (кстати, кажется, им же введенный термин) [Осипов 2007: 216–217]: используя последнее в качестве отправной точки рассуждений, он полагает, что «о мошенничестве в юридическом смысле слова правомерно говорить лишь в тех случаях, когда именование (или, чаще, переименование) товара или услуги приносит не просто надежду на успех, хотя бы и коммерческий [т. е., например, реклама – это «манипулирование не всегда законное, но все-таки не мошенничество в юридическом смысле» [Осипов 2007: 218, а реальный, подчас даже исчислимый денежный доход» [Осипов 2007: 219]. Скажем, «когда заработная плата, не меняя своего размера, отстает от прожиточного минимума, она меняет свою суть и становится социальным пособием, а если за ней сохраняется наименование “заработная плата”, то перед нами опять-таки мошенничество речевого характера» [Осипов 2007: 220]. Кстати, верно отмеченные автором «лингвистические изыски» российского официоза (представить аудитории СМИ обстановку в Чечне и пограничных с нею регионах как преимущественно почти мирную) вряд ли совершенно «не преследуют непосредственно корыстной, собственно имущественной цели, имеющей конкретное финансовое выражение» [Осипов 2007: 217–218]. Дело в том, что выплата определенной надбавки к денежному содержанию военнослужащего (т. н. *боевых*) зависит именно от его личного участия в войне (боевых действиях); и если в упомянутом регионе царит мир, то и «боевые» находящимся там солдатам и офицерам, естественно, не положены – то же самое, что и в случае с «заработной платой», не дотягивающей до планки прожиточного минимума (а ведь и ее тоже устанавливают довольно загадочным образом, как и уровень «социальных расходов электроэнергии» и т. п.). Такой словесной эквилибристики в российском официозе более чем достаточно, и причины этого весьма прозрачны: «Политические лидеры, средства массовой информации, воздействуя на общество и конкретную личность, используют разнообразные приемы, в том числе и речевое давление, языковое манипулирование» [Семенюк 2001: 279]; желание манипулировать неизбежно [Синельникова 2002: 189].

Понятие «языковое (речевое) манипулирование» представляется, конечно, более узким, нежели «манипулирование вообще». Приведем некоторые определения.

Языковое манипулирование – «вид языкового воздействия, используемый для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный момент. В основе языкового манипулирования лежат такие психологические и психолингвистические механизмы, которые вынуждают адресата некритично воспринимать речевое сообщение, способствуют возникновению в его сознании определенных иллюзий и заблуждений, провоцируют его на совершение выгодных для манипулятора поступков» [Быкова 1999: 99]. – «Под языковым манипулированием мы понимаем скрытое воздействие на реципиента (группу индивидов), совершаемое в интересах воздействующей стороны, с целью достижения определенного эффекта. Путем манипуляции в сознание внедряются идеи, образы, ассоциации, стереотипы, которые могут полностью, причем незаметно для человека, изменить его отношение к миру» [Любимова]. – Ср. также «компромиссное» определение «языко-речевая манипуляция» [Бринёв 2005: 156–157].

Хотя иногда и говорят, исходя из соссюровской дихотомии язык – речь, что было бы точнее «квалифицировать данное явление как речевую манипуляцию, так как в данном слу-

чае речь идет об *использовании* языковых средств и подчеркивается прагматический характер явления» [Бугорская 2004: 5], однако именно на факте существования языка как знаковой системы базируется возможность его применения в функции инструмента манипуляции.

Очевидно, что, подобно тому, как это происходит в любой игре, участники манипулятивных игр в слова также распределяются по ролям в акте коммуникации: адресант и адресат / субъект и объект / источник и реципиент / манипулятор и манипулируемый, соблюдающие определенный образ поведения. Так, рассматривая загадку как пример высококонвенционального действия, называемого игрой, противопоставляют его «обычному» коммуникативному акту по следующим критериям: «а) игра – это высококонвенциализированное коммуникативное действие, следовательно, действия игроков расписаны очень жестко, роли четко распределены; б) игра не может начаться спонтанно: прежде чем начать играть, игроки договариваются об этом, этот договор – не следствие некоторых коммуникативных поведений, не молчаливое согласие, а результат формально выраженных направленных взаимодействий; в) для игры характерно наличие целей, в большой степени абстрагируемых от конкретных условий коммуникаций... Роль участника игры – это своего рода маска, под которой существует коммуникант прежний, доигровой» [Филиппов 1998: 103]. Ср. эпизод состязания сказочных персонажей – Бильбо и Голлума, во время которого они меняются ролями субъекта и объекта манипуляции, «загадчика» и «отгадчика», причем нарушают правила игры взаимно, поскольку не доверяют друг другу: «Он [Бильбо] знал, конечно, что игра в загадки очень старинная и считается священной и даже злые существа не смеют плутовать, играя в нее. Но Бильбо не доверял этому скользкому созданию: с отчаяния оно могло выкинуть любую штуку. Под любым предлогом оно могло нарушить договор. Да и последняя загадка, если на то пошло, согласно древним правилам игры, не могла считаться настоящей» (т. е. это был «обычный» вопрос) [Толкиен 1991: 74–75].

Замечательный пример высококонвенциональной игры (причем выражающейся не только вербально), участники которой как бы надевают на себя некие маски, соответствующие их ролям, и соблюдают необходимые правила, – это взаимоотношения Бориса Друбецкого и Жюли Карагиной.

Предварительные условия игры: в силу обстоятельств Борису, приехавшему в Москву для женитьбы на богатой невесте, приходится остановить свой выбор на Жюли. Ей двадцать семь лет, она очень богата и совершенно некрасива (хотя и считает, что «она не только так же хороша, но еще более привлекательна теперь, нежели была прежде»); причем Жюли «усвоила себе тон девушки, как будто потерявшей любимого человека или жестоко обманутой им. Хотя ничего подобного с ней не случилось, на нее смотрели, как на таковую, и сама она даже верила, что она много пострадала в жизни» [Толстой 1980, V: 323]. «...Некоторые молодые люди, в числе которых был и Борис, более углублялись в меланхолическое настроение Жюли, и с этими молодыми людьми она имела более продолжительные и уединенные разговоры о тщете всего мирского... Жюли была особенно ласкова к Борису» [там же].

Далее отношения между мнимыми страдальцами развиваются по канонической партитуре сентиментализма; имитация чувств нарастает: «Жюли играла на арфе самые печальные ноктюрны. Борис читал ей вслух “Бедную Лизу” и не раз прерывал чтение от волнения, захватывающего его дыхание. Встречаясь в большом обществе, Жюли и Борис смотрели друг на друга как на единственных людей в море равнодушных, понимавших один другого» [Толстой, 1980, V: 324] – и через «месяц тяжелой меланхолической службы при Жюли» Борис делает предложение: «“Вы знаете мои чувства к вам!” – Говорить больше не нужно было: лицо Жюли сияло торжеством и самодовольством; **но она заставила Бориса сказать ей всё, что говорится в таких случаях**, сказать, что он любит ее и никогда ни одну женщину не любил более ее. Она знала, что за пензенские имения и нижегородские леса она могла требовать этого, и она получила то, что требовала» [Толстой 1980, V: 326].

Таким образом благополучно завершается игра, результатом которой удовлетворен каждый из ее участников, игравших по установленным (хотя и неписаным) правилам: им теперь можно сбросить поднадоевшие обоим маски, забыть о сентиментальности как непереносимом условии игры и вести себя естественно: «Жених и невеста, не поминая более о деревьях, обсыпающих их мраком и меланхолией, делали планы о будущем и приготавливали всё для блестящей свадьбы» [Толстой 1980, V: 327].

Можно согласиться с тем, что в основе манипуляции лежат речевые действия, имеющие конкретную направленность (впрочем, как уже сказано выше, это относится по существу ко всем коммуникативным актам): субъект манипуляции пытается навязать ее объекту свою волю [Бринёв 2005: 161]. Это, в общем-то, прозрачное положение нуждается, на наш взгляд, в определенной дополнительной дешифровке. А именно: путем использования каких типологически однородных (или разнородных?) языковых либо неязыковых средств может быть достигнуто (или полностью, или хотя бы частично) подавление воли объекта – причем с учетом такого важного обстоятельства, в какой степени эта воля имеется у адресата воздействия, который, может быть, уже предрасположен или подготовлен (либо толерантен) к нему.

Это можно рассмотреть на материале текстов коммерческой рекламы. Было бы затруднительным абсолютно четкое разграничение СМИ и рекламы, хотя такие попытки иногда предпринимаются (ср.: «Предлагаем выделить рекламолект как особый социолект, характеризующийся присутствием речевого образа продавца и ожиданием обратной связи от потенциального потребителя» [Ульянская 2005: 95]. – «Реклама является особым типом текста, текстом влияния. Растиражированность таких текстов позволяет сказать, что именно данная сфера культуры оказывает наибольшее воздействие на сознание современной личности» [Пикулева 1998: 112] (хотя любой текст СМИ очевидно выполняет те же задачи)). Реклама – неотъемлемая составляющая СМИ, концентрированно выражающая их цели: «дать нам такие знаки, чтобы мы, встроив эти знаки в контекст, изменили образ этого контекста в нашем восприятии. Он подсказывает нам такие связи своего текста или поступка с реальностью, навязывает такое их истолкование, чтобы наше представление о действительности было искажено в желательном для манипулятора направлении» [Кара-Мурза 2002: 28]. Собственно, принципиально безразлично, какой товар предлагает покупателю (аудитории) продавец через рекламу (устах СМИ): политического деятеля или товары широкого потребления, трансформируя представления аудитории о реальности – внушая, например, мысль, что без данного товара (или политика) более или менее комфортное существование реципиента невозможно.

Обычно исследователи заключают, что с помощью рекламных текстов формируется некая псевдодействительность, мир, параллельный реальному и имеющий с последним весьма мало общего. Кроме того, отмечают, что разнообразные манипулятивные игры в слова, реализующиеся в рекламных текстах, преследуют цель ввести в заблуждение, обмануть: «Реклама нарушает этическую норму... побуждая покупателя к совершению не критического поступка... наносит тем самым вред потребителю (материальный, моральный и др.). Добиваясь своих целей, она не думает о покупателе как о человеке [собственно, это свойство манипуляций вообще. – А. В.]... Ориентируясь на западные образцы, реклама стремится привить чуждую русской ментальности систему культурных норм и ценностей. Она формирует не только новые потребности, но новые “суррогатные” (мнимые) ценности... Реклама проповедует в основном материальные ценности, забывая о духовных [точнее, может быть, стоит говорить о подмене духовного материальным? – А. В.]» [Попова 1998: 115]. Такой должна стать псевдообъективная, «виртуальная» реальность – миф, в который планируется вовлечь потребителя [Зирка 2004: 134]; мир, предстающий в значительно упрощенном либо искаженном виде как комбинация товаров [Кузьмина, Терских 2005: 168]. Монополии попутно (а возможно, это и является главной их целью) «перепрограммируют нас из самой читающей и противоречивой нации в некое подобие собственным одномерным существам, мыслящим исключительно в заданных

свыше категориях и поступающим так, как надо производителям Зрелищ, а не иначе» [Рас-торгуев 2003: 425].

Кроме того, не обо всех рыночных механизмах и уж тем более об их психологии далеко не всегда принято говорить открыто (ведь и когда не в меру доверчивым советским людям вдалбливали представления о прелестях *рыночной экономики*, умалчивали, что речь идет о капитализме, справедливо отягощенном устойчивой негативной коннотацией [Кара-Мурза 2002: 415]; собственно, одна из обычных манипулятивных «игр в слова»). Например, о четком разделении общества на богатых и бедных, на тех, кто может купить рекламируемый продукт либо услугу, и на тех, кто может только слушать об этом либо созерцать на телеэкране или в рекламном издании. Чрезвычайно актуальным для «россиян» следует считать сегодня «возникающий во втором случае синдром ресентимента (от фр. *ressentiment* – 'злопамятность, озлобление') – тягостного сознания тщетности попыток повысить свой статус в жизни и в обществе. Связывая ресентимент с проблемой понимания смысла текста в его соотношении с реальностью, можно сказать, что чем больше непонимание и неудовлетворение, тем выше уровень недоверия и даже агрессии» [Синельникова 2003: 218].

Ср.: «...Ни денег у них, ни надежды [у преподавателей респектабельной частной школы для отпрысков имущих, где «респектабельность оплачивается скудно»]. Мир меняется, меняются моды; женщины Карна следят за модой издали, ушивают платья, закалывают волосы, и с каждым глянцеви́тым модным журналом подбавляется в них ненависти к мужьям» [Ле Карре 1989: 275].

По мнению некоторых зарубежных исследователей, «телевизионная семья... гораздо (примерно вчетверо) богаче реальной средней американской семьи», что оставляет у последней «крайне преувеличенное, ошибочное представление о том, насколько богат средний американец. Сравнивая себя с этой мифической семьей, все испытывают в конечном счете чувство ущербности» [Калашников 2003: 82]; кстати, тот же инструмент регулирования самооценки аудитории очевидно используется и в российских телесериалах, как сделанных по зарубежным (прежде всего американским) лекалам, так и в собственно отечественных.

Таким образом совершается очень значимая манипулятивная операция: большинство постоянных потребителей телепродукции и т. н. глянцеви́х журналов обречены существовать с постоянным ощущением неудовлетворенности собой и своими близкими, сами готовы оценивать себя как людей, не сумевших реализовать якобы предоставленные им возможности, как неудачников, не пригодных ни к чему – и прежде всего к добыче денег (неслучайным следует считать широкое распространение, особенно в российской молодежной среде, американизма *loser* – в русской передаче *лузер*⁶). Отсюда – падение жизненного тонуса, ожесточенность, обрыв семейных и иных межличностных связей, эмоциональная неуравновешенность и психические расстройства; зачастую – и стремление отомстить за это всему окружающему миру (ср. нередкие случаи т. н. «бессмысленных» массовых убийств в «цивилизованных странах» или погромы и грабежи, устроенные в одной из них – Англии – представителями социальных низов, в основном небелыми иммигрантами в августе 2011 г.).

⁶ Ср. детализированное писателем толкование: «Он ощущал себя именно “лузером”, то есть не просто полным идиотом, а вдобавок к этому военным преступником и неудачным звеном в биологической эволюции человечества» [Пелевин 1999: 179–180].

Роль адресата манипуляции

Немаловажно, что восприятие и усвоение информации зависит от готовности людей принять ее воздействие. Ср. пример взаимодействия субъекта и объекта манипуляций:

«— Итак, если нет препятствий, то с богом можно бы приступить к совершению купчей крепости, — сказал Чичиков.

— Как, на мертвые души купчую?

— А, нет! — сказал Чичиков. — Мы напишем, что они живы, так, как стоит действительно в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов; хотя за это и потерпел на службе, но уж извините: обязанность для меня дело священное, закон — я немею пред законом.

Последние слова понравились Манилову, но в толк самого дела он все-таки никак не вник и вместо ответа принялся насасывать свой чубук так сильно, что тот начал, наконец, хрипеть, как фэгот. Казалось, как будто он хотел вытянуть из него мнение относительно такого неслыханного обстоятельства; но чубук хрипел и больше ничего.

— Может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения?

— О! Помилуйте, ничуть. Я не насчет того говорю, чтобы имел какое-нибудь, то есть, критическое предсуждение о вас. Но позвольте доложить, не будет ли это предприятие, или, чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция, — так не будет ли эта негоция несоответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?

Здесь Манилов, сделавши некоторое движение головою, посмотрел очень значительно в лицо Чичикова, показав во всех чертах лица своего и в сжатых губах такое глубокое выражение, какого, может быть, и не видано было на человеческом лице, разве только у какого-нибудь слишком умного министра, да и то в минуту самого головоломного дела.

Но Чичиков сказал просто, что подобное предприятие или негоция никак не будет несоответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России, а чрез минуту потом прибавил, что казна получит даже выгоды, ибо получит законные пошрины.

— Так вы полагаете?..

— Я полагаю, что это будет хорошо.

— А, если хорошо, это другое дело: я против этого ничего, — сказал Манилов и совершенно успокоился» [Гоголь 1956: 32–33].

Это — пример манипуляции межличностного уровня, успех которой манипулятор мог легко предугадать. Однако, как полагают, столь же (если не более) эффективно манипулятивно-суггесторные операции применимы по отношению к большим массам людей, как организованным, так и абсолютно неорганизованным: «Что во многих отношениях удивительно и малопонятно, это всемогущество слов в психологии толп. Могущество, которое происходит не из того, что говорится, а из их “магии”, от человека, который их говорит, и атмосферы, в которой они рождаются» (С. Московичи; цит. по [Кара-Мурза 2002: 85]).

К числу описаний таких вербально-манипулятивных операций в классической художественной литературе принадлежит эпизод трагедии Шекспира «Юлий Цезарь»: это обращение к толпе римских граждан «надгробное слово» Марка Антония (сцена 2-я III акта — далее цит. по [Шекспир 1959, 5: 277–285]).

Антоний строит выступление психологически точно и риторически выверенно.

Предварительно оговорившись, что он «обязан Бруту... за разрешение здесь речь держать» и что он «не восхвалять... Цезаря пришел, А хоронить», Антоний в первой же части выступления начинает перечислять заслуги Цезаря, который «Гнал толпы пленников к нам... в Рим, Их выкупом казну обогащая... Стон бедняка услыша,... плакал... Я трижды подносил ему корону, И трижды он отверг — из властолюбья?» (причем неоднократно повторяется

в качестве своеобразного рефрена: «Честный Брут сказал, что Цезарь был властолюбив... А Брут ведь благородный человек, И те, другие, тоже благородны... Но Брут назвал его властолюбивым. А Брут весьма достойный человек» и т. д.). Первая часть речи заканчивается обращением к чувству и разуму «друзей, сограждан» – т. е. толпы плебса («Вы все его любили по заслугам») и драматической паузой («За Цезарем ушло в могилу сердце, Позвольте выждать, чтоб оно вернулось»).

Во второй части выступления Антоний напоминает, что «Вчера еще единым словом Цезарь Всем миром двигал» – и «вот он недвижим, Без почестей, пренебрегаем всеми»; тут же оратор говорит о своем миролюбии, вновь подчеркивая высокие гражданские качества антицезарианцев («...когда б хотел Поднять ваш дух к восстанью и отмщенью, Обидел бы я Кассия и Брута, А ведь они достойнейшие люди»), и делает здесь же многословный намек на завещание Цезаря, дарующее римлянам неисчислимые блага; огласить же завещание оратор якобы не желает потому, что в результате этого возможно некое всенародное потрясение («Услышав Цезарево завещанье, Воспламенитесь вы, с ума сойдете»), а проговорился он об упомянутом документе случайно («О завещанье я вам проболтался»); вновь деликатно повторяется: «Боюсь обидеть тех людей достойных, что Цезаря кинжалами сразили».

Далее Антоний просит у толпы разрешения сойти с ростры (чтобы таким образом не возвышаться над слушателями, но оказаться с ними на одном уровне – а такое стирание пространственной границы имеет, конечно, и смысл отказа от социальных перегородок: аристократ буквально снисходит до аудитории) и предлагает всем стать в круг над прахом Цезаря (что также имеет сакральное значение: клятвы над телом павшего вождя и т. п.). Как будто забыв о завещании, оратор, вскользь еще раз напомнив о полководческих заслугах своего патрона (а кстати уж, и о собственной причастности к ним), указывает аудитории на раны, нанесенные Цезарю вероломными приближенными (и тут же называет имена некоторых из них: Кассий, Каска, Брут), уже не объявляя их честными, благородными и достойными: «Кровавая измена торжествует».

В следующей части выступления Антоний вновь подчеркивает свою приверженность идее гражданского мира («...Я вовсе не хочу, Чтоб хлынул вдруг мятеж потоком бурным»), предлагает римлянам самим выяснить мотивы, двигавшие убийцами «благородными», к которым говорящий не испытывает неприязни («Увы, мне неизвестны побужденья Их личные, они мудры и честны И сами всё вам могут объяснить. Я не хочу вас отвратить от них»); кроме того, он якобы не владеет даром публичного красноречия: слишком простодушен («Я не оратор, Брут в речах искусней; Я человек открытый и прямой... Нет у меня заслуг и остроумья, Ораторских приемов, красноречья, Чтоб кровь людей зажечь»). А потому Антоний способен сообщить аудитории будто бы лишь неоспоримые факты («Я говорю Здесь прямо то, что вам самим известно: Вот раны Цезаря – уста немые, И я прошу их – пусть вместо меня Они заговорят»). Будь иначе, «И камни Рима, возмущаясь, восстали».

Далее Антоний, как бы спохватившись, подогревает пыл уже возбужденной им толпы долгожданным чтением завещания Цезаря («Он римлянину каждому дает... по семьдесят пять драхм... Он завещал вам все свои сады, беседки и плодовые деревья вдоль Тибра... На веки вечные для развлечений»), заканчивая патетическим восклицанием: «Таков был Цезарь! Где найти другого?»

О несомненном вербально-манипулятивном (иначе – демагогическом) мастерстве Антония свидетельствуют изменения настроений толпы. Вначале аудитория, казалось бы, убежденная предшествующим выступлением Брута в правоте его и его сторонников («Ведь Цезарь был тиран») и лишь с «разрешения» (а в сущности, по тактически неосторожной рекомендации главы заговорщиков) внимающая Антонию, относится к последнему настороженно. Но сразу после вступительной части речи римляне начинают сомневаться в том, что услышали от Брута («В его словах как будто много правды... Выходит, если только разобраться, зря Цезарь

пострадал...»), хотя им предложена лишь интерпретированная оратором информация («Вы слышали? Не взял короны Цезарь; так, значит, не был он властолюбив»), исходящая, однако, от самого авторитетного источника («**Всех благородней** в Риме Марк Антоний»). Раздается единичная пока угроза по адресу заговорщиков («Тогда они поплатятся жестоко»).

После упоминания о завещании уже «все» требуют огласить его, а отношение к участникам заговора резко меняется у многих («...Предатели они»... «Они злодеи, убийцы»). Сцена демонстрации Антонием ран Цезаря заканчивается всеобщими призывами: «Мечь! Восстанем! Найти их! Сжечь! Пусть ни один предатель не спасется». За якобы миротворческими увещеваниями Антония повторяется уже непредотвратимое намерение толпы («Восстанем мы!»). Наконец, в результате оглашения завещания Цезаря слушатели переходят к непосредственным действиям («Огня добудьте». «Скамьи ломайте». «Скамьи выламывайте, окна, все!»).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.